

Керен Климовски

Время говорить

Фрагмент романа

1. Судный день

Может, звучит пафосно, но это правда, и все: осенью я отказалась от любви. Думаю, навсегда. Но для начала давайте уточним, что такое осень, а то я уже поняла, что это слово для разных людей может означать совершенно разные вещи. Вот мои родители, например. Казалось бы, уже больше двадцати лет в стране и приехали сюда детьми, а все еще тоскуют по русской осени — с дождями, грибами, опавшими листьями. Причем, папа заиклен на грибах. У нас зимой тоже растут грибы — в лесу рядом с Иерусалимом, например (папины друзья там собирают). Но папу это не устраивает. «Не то» говорит, не те грибы, другие, не такие: где запах детства, запах России, запах русской литературы? Хочется сказать: в твоей университетской библиотеке! Там и сыро, и гнилью пахнет. Папа — профессор русской литературы в Иерусалимском университете, и я там родилась, то есть не в университете, конечно, а в Иерусалиме, хотя сделали меня, может, и в университете, может, даже в той самой библиотеке, кто знает, ведь когда я родилась, родители только получили дипломы... Правда, папа продолжал учиться, стал профессором и остался на кафедре. Для мамы места не нашлось: она пишет детские книжки и в шутку называет себя домохозяйкой. А потом у нее обнаружилось высокое давление, и врачи решили, что в Иерусалиме ей жить вредно, поэтому мы переехали в центр и купили квартиру в Бар-Илане, рядом с Бар-Иланским университетом. Папа вечно жалуется: «Преподаю в одном, живу рядом с другим — все в моей жизни шиворот навыворот!» Он злится, потому что ему час ехать на работу и час обратно, а иногда еще и в пробках стоит... Мама его утешает, что, может, скоро в Бар-Илане тоже откроется кафедра русской литературы, но папа на это всегда отвечает: «После дождичка в четверг!» — смысл фразы я так и не поняла, наверное, что-то вроде «Я этого уже не дождусь!»

Несмотря на вечное нытье про нехватку времени, папа написал уже три книжки о «Братьях Карамазовых», хотя я не понимаю, как можно про одну книжку написать целых три — у меня это в голове не укладывается. Тем более я этих Карамазовых не одолела даже до середины: как-то все очень путанно, только начнешь вникать в одну историю, как сразу заходит речь о ком-то другом. В общем, единственное, что я поняла: все русские — сумасшедшие, у них полностью крыша поехала. Но Достоевский

Керен Климовски — прозаик, драматург. Родилась в Москве в 1985 году, выросла в Израиле, училась в Америке, живет в Швеции. Публикуется в «Дружбе народов», «Октябре», «Иерусалимском журнале» и др. Лауреат и финалист Волошинского конкурса (2011, 2013). Предыдущая публикация в «ДН» — повесть «Дорога. Скорость. Высоцкий» (2017, № 11).

хотя бы забавный, а вот Чехов — тоска, читаешь его и как будто медленно погружаешься в болото. Папу очень расстраивают мои отзывы, он говорит: «Это перевод плохой!» — я ведь на иврите читаю, я русский не так хорошо знаю — и даже пытался другие переводы мне подсовывать, но все равно как-то не шло. Тогда он сказал: «Вот вырастешь и сама переведешь, да, Мишенька?»

У меня такое странное имя, потому что мама была уверена, что у нее будет мальчик и собиралась назвать меня в честь своего дедушки — Михаэль, а родилась я, и хотя есть нормальное женское имя Михаль, мама наотрез отказалась меня так называть, потому что одну ее знакомую — набитую дуру — звали Михаль... Так что родители выпендрились и назвали меня Мишель, и теперь многие спрашивают: «Вы — французы?» — то есть евреи из Франции, что совсем неплохо, кстати, потому что с тех пор, как к нам на голову свалился миллион русских (то есть евреев из России, но в эти детали никто не вдается), русских у нас недолюбливают. Ну вот. А дома меня зовут Мишкой: когда к нам приходят какие-то новые русскоязычные знакомые, они удивляются, что я не мальчик, а девочка, но я давно привыкла: Мишка так Мишка. А когда папа называет меня Мишенькой, у меня все внутри замирает, и никак не могу признаться ему, что я не только не собираюсь переводить русскую литературу, а даже читать ее не планирую, и мычу нечто неопределенное, что папа толкует как «да», и его глаза наполняются слезами, и он уже видит взрослую дочь — гордую продолжательницу дела его жизни, и в этот момент его со всех сторон окружает Великая Русская Литература, и мерещится запах грибов.

Так вот, папа заиклен на грибах, а мама на «золотой осени». Она уже сто раз читала мне это стихотворение Пушкина — и на русском, и на иврите — про все вот это «очей очарованье»: Пушкин, кстати, — ничего, он, кажется, из них самый вменяемый чувак был... Иногда мама показывает мне альбом с фотографиями, на которых она — девочка с косичками и гигантским бантом в волосах — утопает в листьях, то есть лежит на траве, зарытая в осенние листья. Только фотографии черно-белые, и «золотой осени» не видно, но мама этого не понимает, и ей так хочется, чтобы я увидела эти золотистые листья, что иногда я их даже вижу. Хотя проще всего мне понять «золотую осень» через маму — у нее пышные волосы осеннего цвета, золотисто-медные, и большие карие глаза, ни у кого такой красивой мамы нет. Все говорят, что я на нее похожа, но этого не может быть, потому что мама — красивая, а я — уродина. Но не будем об этом.

В общем, я просто хотела сказать, что моя осень — это не грибы, и не золотые листья и Пушкин, и даже не дожди. Разве что предчувствие дождя. Тот особенный запах, который появляется в воздухе в начале или середине сентября, когда отходят последние хамсины, и в небе висит, как флаг, первое робкое облако — тушует, как будто ни при чем, и в классе еще открывают окна, чтобы проветрить, и, вроде, еще жарко, но что-то изменилось, и это невозможно не почувствовать, не заметить — такой запах обновления и надежды, запах влаги, запах близости дождя. Особенно хорошо он ощущается ранним утром, по дороге в школу. Иногда он сливается с запахом от ворсистого ковра, на котором в младших классах мы сидели по-турецки у доски, только от ковра чуть более зимний запах, дождливый, а из окна — ветерок и обещание дождя, и тень — тень, которую в августе не отыщешь.

А еще осенью начинается школа, и запах обновления проникает во все предметы — в новые тетрадки и оберточную бумагу для учебников, в пенал, в карандаши и гелевые ручки, которыми нам только-только — в шестом классе — разрешили писать. Повезло, конечно, что учебный год начинается осенью, когда уже не так жарко, и можно сосредоточиться на чем-то, но все эти запахи сводят с ума, по крайней мере меня. А когда учительница начинает писать на белой доске толстым красным или синим маркером, от этого химического запаха просто кружится

голова — это тоже запах новизны. Нам опять, в очередной раз, обещают, что все будет хорошо, что круг завершен, мы вернулись к началу, и так будет всегда — начало года, запах бумаги и учебников, синий маркер на белой доске. Короче, мы все будем жить вечно! И мне так нравится эта мысль, что я даже готова, чтобы школа была вечно — ведь нигде больше так не ощущается начало, как здесь! Не зря у нас и Новый год осенью — ведь это тоже начало и — вместе с обещанием дождя — обещание, что все повторится, что каждую осень будет месяц тишрей, а в нем Новый год, и яблоки, которые макают в мед, и зернышки граната, и заунывные звуки шофара, и моя любимая песня, в которой на школьной линейке в начале года мы поем, что в следующем году будем сидеть на балконе и считать пролетающих мимо птиц из северных стран, а дети (то есть мы!) будут играть в салки между домом и полями — так именно и поется «*между домом и полями*», и когда я тоже пою эти слова, наша крохотная страна вдруг растет как на дрожжах, заполняет собой карту мира, на какое-то время становится огромной и бескрайней, потому что вот это пространство «*между домом и полями*» — оно безмерное. И то, как — в моих мыслях — растет Израиль, и эти птицы из дальних стран, которые прилетели погреться — это тоже осень, моя осень.

Я так люблю это время, что даже десять дней между Новым годом и судным днем — десять дней раскаяния, которые называются очень угрожающе — «*страшные дни*» — мне совсем не страшны. Я, конечно, не могу сказать, что в чем-то сильно раскаиваюсь, но в эти дни чувствую: что-то во мне меняется. И сны снятся чудесные, сны месяца тишрея, когда жара — уже отголосок, а дождь — пока обещание. Тишрей застрял между двумя сезонами, он — смесь между воспоминанием и надеждой, он почти придуман, и в то же время он самый настоящий. Однажды мне даже приснились падающие яблоки — антоновка, мамин любимый сорт (хотя я никогда не была в России — просто мама про это рассказывала). Яблоки падали на Красную площадь, которая была буквально красного цвета. Мама тогда сказала, что понятно, почему я так особенно чувствую тишрей, ведь по ее линии у меня семь поколений раввинов, это у меня в крови, на генетическом уровне, но, увидев папино лицо, тут же сменила тему: папа — ярый атеист, он религию терпеть не может, а израильских религиозных просто на дух не переносит, у него даже одна из книжек о том, что Достоевский на самом деле в Бога не верил и презирал его. Я у папы как-то раз спросила: а как можно презирать кого-то, в кого не веришь? Папа разозлился и сказал, что я ничего не понимаю. А я ведь не хотела подколоть, мне правда интересно, я сама не знаю, во что я верю, я только знаю, что люблю месяц тишрей, просто люблю, и все.

А больше всего — как ни странно — люблю Судный день. Хотя все мои друзья считают этот день самым скучным: по телеку, например, ничего не показывают. (Тоскливее только день памяти жертв Холокоста — тогда по телеку сплошные документальные фильмы про концлагеря и газовые камеры — бр-р-р-р.) Ну и вся эта идея, что нас записывают в Книгу жизни или Книгу смерти и подсчитывают наши грехи и добрые дела, да еще на весах взвешивают, так что Бог представляется таким дотошным и занудным бухгалтером... В общем, мало кому эта мысль нравится. Только они не понимают, что на самом деле Судный день совсем не об этом. Он — о красоте. Это самый красивый день в году. Даже не потому, что поют красивые молитвы — хотя они и правда красивые. И не потому, что в этот день — вернее, накануне — просишь у всех, кого обидел, прощения, и что-то щемит в сердце, и это очень приятно (хотя прощать еще приятней), и по-своему тоже красиво — когда слезы на глазах, и сдерживаешься, чтобы не заплакать... И даже не потому, что в этот день не летают самолеты, не ходят поезда и не ездят машины (даже такие отпетые атеисты, как папа, не садятся за руль). Дороги всей страны наводняются детьми на великах и роликах, и это красиво! Но самое красивое — поход в синагогу: и вечером, когда смеркается, и утром, когда светает.

В этот день в синагогу ходят все, почти все — даже мы (хотя папа ворчит). Это тот самый «раз в году» для светских семей. Все идут в синагогу, и все в белом. Такая традиция. Представьте: толпы народу, то есть «народ Израиля», прямо как в Торе, все на улицах, и все в белых одеждах. И эти одежды слегка пузываются и вздуваются на легком ветру — предвестнике израильской осени — так же вздуваются и пузываются белые простыни, вывешенные на просушку в начинающей остывать иудейской пустыне, где живут бабушка с дедушкой. Вечером, в мягко густеющей темноте кажется, что на улицах шествие привидений, и белые одежды сияют в полумраке, а когда на них падает свет фонарей, кажется, что свет струится от самой одежды. А днем, при чуть желтоватом свете, пустынным свете (ведь почти весь Израиль пустыня, даже самые зеленые части — в них есть что-то от пустыни), так вот, днем кажется, что плывет караван кораблей — не по морю, а по пустыне, что мы — весь народ Израиля — это люди-корабли, и плывем не за угол, не на соседнюю улицу в синагогу, а просто выплываем все вместе в бескрайний и безбрежный мир. И это очень красиво. Правда. Я весь год жду этого момента.

А в этом году все безнадежно испорчено. И теперь, думая о Судном дне, я буду думать не о белых кораблях, а о несчастном подслушанном разговоре. Нечаянно подслушанном. Просто у нас два телефона — один у родителей в спальне, другой в зале. (Я уже пару лет выпрашиваю третий телефон для своей комнаты, но родители заупрямились — типа, тогда я вообще повисну на проводе, а им никто дозвониться не сможет.) Обычно, если снимаешь одну трубку и кто-то поднимает другую, слышен щелчок. Я несколько раз наезжала на папу, когда мне звонили мальчики из класса, а он снимал другую трубку, только он каждый раз притворялся, что просто не слышал, как я уже сняла — и не подкопаешься. А тут... мы как раз готовились к походу в синагогу. Мама была в душе, папа переодевался, а я, уже одетая, готовая к шествию белых парусов, ждала их в зале и не знала, чем заняться. Когда зазвонил телефон, я сразу к нему кинулась: была уверена, что кто-то из класса звонит. И так получилось, что мы с папой сняли трубку одновременно, поэтому щелчка он не услышал. Я бы сразу повесила, потому что взрослые разговоры мало интересны, но услышала, как на другом конце провода женский голос с придыханием сказал:

— Володя, Володя, это ты?

И невольно поморщилась, потому что так папу зовут дедушка с бабушкой и другие близкие родственники, а все остальные, включая маму, называют его израильским именем Зээв (почему-то все Володи становятся в Израиле Зээвами, что буквально переводится как «волк», кроме тех, которые остаются Володями, но в 70-е, когда приехали мои родители, еще было так мало «русских», что почти все меняли имена...) Папе, очевидно, тоже не понравилось, потому что он недовольно буркнул:

— Я же просил сюда не звонить.

А женский голос — настойчивый и горячий (я почти ощущала горячее дыхание) всхлипнул:

— Извини, Володенька, я не выдержала...

И я напряглась еще сильнее, потому что по-русски знаю далеко не все слова, и не сразу поняла, что означает «не выдержала», и потому что этот грудной, горячий голос показался мне знакомым, где-то я его уже слышала, только не могла вспомнить, где. А голос продолжил:

— Я скучаю по тебе, Володенька.

И папа тоже перешел на шепот и быстро-быстро, скороговоркой:

— Я тоже, я тоже скучаю, Марина, не могу сейчас, не звони сюда больше, я тебе сам позвоню, целую, пока.

И повесил трубку. И я сразу тоже повесила. Еще не хватало, чтобы папа меня застукал. Это я успела сообразить, несмотря на целый рой мыслей, который бился в

мои виски изнутри, так что я почти оглохла, только слышала этот шум, этот пустой гул из огрызков слов, которые я не могла понять, потому что за последнюю минуту практически разучилась понимать не то что русский, а свой родной язык — иврит. Повесила трубку и сразу опустилась на пол рядом с телефонным столиком. Осела на пол, потому что почувствовала, что стоять я больше не могу. То есть я вдруг поняла значение этого выражения «твой мир рушится», потому что мне реально казалось, что мир рушится: шатается пол, и в нем как будто прорезываются щели, впадины, и стены ходят ходуном, и все ближе, угрожающе нависает потолок... Я закрыла глаза. Посидела так, пока не успокоилась. Пока не перестал шататься пол, пока не перестали трястись стены. И из всего запутанного клубка мыслей на поверхность выплыли две:

- 1) папа изменяет маме;
- 2) он изменяет ей с Мариной.

Первая мысль была невыносима. Вторая — еще невыносимей. И абсолютно нелепой. С той самой Мариной (а никаких других Марин он не знал, да и голос я вспомнила), которая преподает на кафедре биологии в Иерусалимском университете, которая из новой волны репатриации и говорит на иврите с чудовищными ошибками и безобразным акцентом? С некрасивой толстой Мариной, у которой сиськи размером с мою голову, которая носит слишком облегающую одежду, обнажая жирные ляжки, у которой комки туши в ресницах, а губы покрашены так, что хочется подойти и пальцем вытереть лишнее? С жалкой, нескладной Мариной, которая постоянно курит, так что вся пропахла куревом, и своим прокуренным голосом (пожалуй, голос у нее красивый, грудной) постоянно жалуется на жизнь? Пару месяцев назад они были у нас в гостях — Марина и ее худющий сутулый муж, который в основном молчал, так что даже имени его не помню, и Марина рассказывала о том, что получает зарплату не как профессор, и не от университета, а от государства — какую-то стипендию Шапиро, и это просто копейки, и стыдно, потому что израильтяне без высшего образования на других работах получают больше, но хоть на этом спасибо, потому что только десять процентов устроились по специальности, а остальные моют полы, сидят на кассе и таскают тележки в супермаркете... И мама с папой охали, ахали, ужасались, жалели ее, и папа обещал похлопотать у декана, чтобы ей выделили хоть какой-то бонус. Папа совершенно спокойно разговаривал, нормально, сочувствовал, и все такое, но мама сочувствовала даже больше, она вообще более теплая, и ни за что невозможно было догадаться, что Марина — папина любовница... (Фу! Какое ужасное слово, оно как будто не настоящее, а из романов или мыльных опер, неужели это отвратительное слово теперь и про мою семью?!) И вот теперь с этой самой Мариной, которая, кстати, старше папы лет на пять как минимум, с ее безымянным мужем и стипендией Шапиро, с этой самой Мариной папа изменяет маме. Красивой стройной маме, которая одевается, как молодая, конечно, когда одевается, потому что большую часть времени она не вылезает из пижамы и халата, а когда папа ее дразнит, говорит, что ей некуда особо наряжаться, и иногда она бывает грустной и подолгу спит, но она все равно красивая и молодая, и очень звонко смеется — как можно изменять маме с Мариной, у меня в голове не укладывается!

Тут мама как раз вышла из душа, шутливо обрызгала меня водой, которая стекала с ее длинных волос, и сказала: — Мишка, ты чего сидишь на полу? — и стала натягивать на себя белое платье, прямо в зале у всех на глазах. Мама не стыдится своей наготы, папа ее на эту тему тоже поддразнивает, но она говорит: «Кого мне стесняться? Вас с Мишкой?» А папа вышел из спальни в своем сером костюме, немного небритый, а борода у него уже начала сесть, и был немного похож на волка, на Зээва. На маму он даже не взглянул, как будто перед ним не полуобнаженная жена, а стенка, но в лице у него ничего особо странного не было, и со мной он общался как обычно, только все время чесал свою черную шевелюру, а это признак того, что он нервничает, у него

такой нервный тик. А я успела подумать: значит, все эти разы, когда папа говорил нам, что остается в Иерусалиме у Хаима, своего друга из армии, потому что устал и не хочет ехать в ночь, он на самом деле ночевал у Марины... Но я успела подумать только это, потому что мы сразу вышли, чтобы не опоздать на первую молитву — *коль нидрей* — и оказались на улице, и я на некоторое время забыла про Марину, окунулась в караван белых парусов и старалась плыть вместе со всеми по улице, не выбиваться, даже не заметила, что по лицу текли слезы, и когда мама вдруг спросила: «Мишка, что случилось?» — не знала что ответить, и пробормотала, что у меня болит голова, но мама не поверила, а папа ничего не заметил — он думал о своем.

В общем, я уже сказала, что этой осенью отказалась от любви. Что такое осень, мы более-менее выяснили, осталась любовь. Тут ведь тоже не все так просто. Надо хотя бы рассказать о своем опыте. Он не такой большой в мои неполные двенадцать лет, но все-таки есть. В Иерусалиме у меня была парочка совсем детских влюбленностей, но это не в счет. А когда два года назад у мамы обнаружили давление, и мы переехали сюда — в Рамат Илан — я, конечно, попала в другой класс. Они к тому моменту уже четыре года вместе учились и успели друг другу страшно надоест, так что я была новинкой, чем-то экзотичным, и в первые несколько месяцев в меня влюбились почти все мальчики, только я тогда страдала по Дуду, который остался в Иерусалиме, и ни на кого внимания не обращала. А когда Дуду стерся из памяти — именно стерся, потому что когда пыталась его представить, его лицо выглядело каким-то линялым, то все уже ко мне привыкли и влюбленности прошли. Только у Алона не прошла, что оказалось очень некстати: мы вместе выпускали школьную газету — придумывали юмористические стихи, шуточные задания, загадки и даже кроссворды. В основном встречались у меня дома, так как его родители работали допоздна, и он нахваливал мамин борщ и отбивные, немного удивленно, так как его мама готовила только на шаббат, а в остальные дни старшая сестра Алона варила им макароны или разогревала купленные в супермаркете замороженные шницели. В общем, мы ладили, и я очень даже хорошо к нему относилась — единственная из всего класса, — хотя было немного противно, что у него вечно сопли, так что не хотелось слишком близко к нему сидеть. Но для того, чтобы болтать, не обязательно слишком близко находиться...

А тут Алон вдруг спятил — послал мне по почте четыре любовных письма, причем, каких-то очень напыщенных, на высоком, литературном иврите, как будто он профессор или герой романа Агнона, что-то там про «многие воды не погасят мою любовь к тебе». В общем, я подумала, что он спятил, но все равно впечатлилась — даже бабушке показала, папиной маме, она как раз была в гостях. Бабушка прослезилась, сказала: «Какой талантливый мальчик!» — а папа просмотрел и фыркнул:

— Да ну вас, это же плагиат чистой воды — все надергал из «Песни песней» и кое-что из Сапфо.

Но после паузы добавил:

— Все равно молодец: знал, где искать.

Я хотела Алону не отвечать и сделать вид, что этих писем не получала, но папа посчитал это малодушным. Он у меня очень принципиальный.

— Мишка, ты должна ему позвонить и лично — слышишь? лично! — поблагодарить его, и извиниться за то, что не можешь ответить на его чувства.

— Зээв, ты не прав, — перехватила эстафету мама. — За что ей извиняться? В чем она виновата?

— Ну хорошо, — смягчился папа, — извиняться не надо.

— А благодарить за что? — пробурчала я. — Можно подумать, сдались мне его письма.

Папа поправил очки на переносице — очередной нервный тик — и строго на меня посмотрел:

— Когда тебя любят, это очень круто, Мишка. За это надо сказать спасибо.

Мама захохотала:

— Что-то не припомню, чтобы ты меня благодарил, Зээв!

А папа очень серьезно ответил:

— Так ведь это другое, ведь я тебя тоже люблю.

Это было всего полтора года назад...

В общем, я пересилила себя, позвонила Алону, выдавила из себя слова благодарности, промолчала про сопли и как-то по-взрослому сказала: «Я просто еще не готова к отношениям». После этого Алон стал меня задирать, говорить мне гадости и вообще странно себя вести. Например, на дне рождения Моти в мини-гольф, пока я ходила за ручку с Мотиным младшим братом, сладким годовалым карапузом, он взял пакетик с кетчупом, положил на землю и наступил на него, как раз когда я проходила мимо, и на меня ка-а-ак брызнуло, так что остались красные пятна на белой футболке. В тот момент я его ненавидела, хотя обычно мне было его жалко, даже не потому, что я его отвергла, а потому что никто в классе его не любил, и все дразнили толстым (хотя он не такой уж толстый, просто немного рыхлый, но меня вот, например, гораздо больше смущали сопли). В общем, я успела понять, что когда тебя любят, а ты — нет, это самое ужасное...

А следующей осенью, в начале пятого класса, у меня впервые появился парень — тот самый Моти, который праздновал день рождения в мини-гольф. Тоже немного пухлый и весь в веснушках. Не могу сказать, что я была в него влюблена, просто так получилось. Мы оба жили в Рамат-Илане и ездили в школу в Рамат-Ган на той же самой подвозке, поэтому я с ним разговаривала куда больше, чем с другими мальчишками, тем более у нас в классе тогда девочки с мальчиками почти враждовали, и Моти тоже при всех делал вид, что я ему никто, а когда ждали подвозку — подлизывался. И вдруг как-то неожиданно предложил мне стать его «девушкой». Ну и я согласилась, просто было любопытно — а что теперь? И время пришло: мне скоро одиннадцать лет, уже почти у всех кто-то был, и мне тоже захотелось. Особенно посмотреть на реакцию других. Мальчики сделали вид, что им плевать, что такие дуры, как их одноклассницы, даром никому не нужны, а девочки позавидовали, только Рони, моя лучшая подружка, сказала: «Зачем он тебе? Он же дурак!» Но я подумала, что она тоже завидует, и впервые на нее разозлилась.

Самое смешное: я совсем не знала, что делают парень с девушкой. То есть, про взрослых знала, конечно, но что делают в нашем возрасте? Наверно, похожие вещи, ну, целоваться, например. Но это где-то с седьмого класса, так говорит Шира, а она самая опытная девочка в параллели. А мы? Может, за руки подержимся? Только я первая его за руку не возьму. На следующий вечер Моти пригласил меня в местную пиццерию, но мы все время тупили, разговор не клеился. Я поняла, что Моти тоже стесняется, и, может, думает о том, как взять меня за руку. А в шаббат Моти предложил пойти в парк. Я не удивилась: в нашем спальном районе кроме пиццерии и парка никуда пойти не реально. Вот совсем молодым влюбленным некуда деться! Можно попросить родителей куда-то отвезти, но это не то... Я уже решила, что в парке невзначай возьму Моти за руку, но вышло совсем по-другому.

Мы немного покачались на качелях, но быстро ушли, потому что это малышковое занятие, потом сели на лавочку, и тут... Моти достал из кармана лупу, с ее помощью стал ловить солнечных зайчиков и направлять лупу на муравьев. Я была в шоке: это его представление о романтике?! Черт, Рони была права! Пока я сидела с застывшим лицом, Моти успел спалить парочку муравьев. Я не знала, что сказать и ляпнула: «Мне надо домой, у меня живот болит!» — и тут Моти выдал: «Ты хочешь какать? Идем, я тебе покажу, где можно покакать...» Этого я уже не вынесла и убежала, а потом написала Моти записку, что наши отношения были ошибкой и мы не можем больше встречаться. Объяснять не стала, рискуя, что он расскажет всему классу, будто я

наложила в штаны (но он этого не сделал). В общем, мои первые отношения закончились бесславно и очень быстро — даже недели не прошло. Зато потом было очень неловко общаться в подвозке — долго-долго... Ну, относительно долго. Через пару месяцев я про это все забыла, так как меня угораздило влюбиться в Бэнци, и я поняла, что прежде — это были только цветочки, а вот когда именно влюбляешься, то все, капец, одни неприятности...

Бэнци — не самый популярный мальчик в классе. И не самый красивый. Но влюбляются именно в него. Что-то такое есть в его очень смуглом лице (его родители из Ливии, из Триполи), в том как иногда сжаты его губы — что-то волевое и упрямое. Вот в это я и влюбилась. А красавчик Омэр, похожий на Тома Круза, меня никогда не волновал. Бэнци интересовали две вещи: политика и футбол. Ни о том, ни о другом я понятия не имела, когда пришла в этот класс. И то, и другое мне казалось одинаково скучным. Я даже один раз при гостях перепутала премьер-министра с президентом, и папа потом мне выговаривал, что стыдно не знать такие вещи... А тут стала присаживаться вечером на диван рядом с папой и смотреть новости (а раньше всегда говорила: «Выключите, это скучно!»), и даже попросила папу провести со мной блиц-лекцию о разных партиях, правда, из папиного рассказа я поняла только, что те — дураки, а эти — сволочи. Но парой фактов во время школьных дебатов удалось блеснуть — не официальных дебатов, это мы на переменках иногда так развлекаемся. Особенно мальчишки — подражают взрослым, иногда даже кричат друг другу «фашист!» или «предатель родины!» — точь в точь, как министры в нашем парламенте. Ну вот и я тоже стала активной участницей, и пару раз Бэнци бросал на меня уважительный взгляд.

А когда мы не говорим о политике, то играем в футбол, и девочки тоже, я одна устранилась раньше, а с середины пятого класса вдруг включилась, быстро поднаторела и довольно прилично играла. Бэнци почти всегда выбирал меня в свою команду, а это именно он всех выбирал, и, как правило, по справедливости, чтобы были равные силы. Рони на каком-то этапе меня уколола, что вот она не стала бы так меняться ради того, чтобы понравиться какому-то мальчику. А я ей сказала, что она плохо соображает: я это не для того делаю, чтобы понравиться Бэнци, а для того, чтобы лучше его понять. К тому же, со временем, мне самой стало нравиться: быть вовлеченной в то, о чем все говорят, бросаться фамилиями наших политиков, пренебрежительно отзываться о взрослых и гонять мяч, откидывая волосы со лба, отдуваясь, кричать до хрипоты: «Пендель, пендель!» — или фыркать: «Пффф, ничего не было, это штанга!»

На фразу «плохо соображаешь» Рони не обиделась. Она меня знает. Я говорю людям в лицо то, что думаю. И в классе меня некоторые за это не любят, но я не собираюсь меняться. Это же признак смелости: я не подхалимка какая-то! Зато если я что-то говорю, то есть, что-то хорошее, можно не сомневаться, что я так думаю. Многие хотели бы как я, у них не получается. Вот Шира говорит, что все в какой-то степени фальшивые и притворяются: ей хочется в это верить, чтобы себя оправдать. А я всегда честная, даже когда это вредит мне. Папа утверждает, что я часто сама на себя доношу — ну и что?! Я этим горжусь и надеюсь, что во взрослости это в себе сохраню, даже если меня многие не будут любить. Зато некоторые, ну, настоящие люди, будут просто обожать меня, я в этом уверена! И почему-то мне казалось, что Бэнци тоже должен меня оценить и влюбиться, но это все не происходило.

Зато моя влюбленность ни для кого не была тайной. У меня просто такое лицо — по нему всегда видно, что я думаю и чувствую, так что даже скрывать бесполезно. И о том, что я влюблена в Бэнци, знал весь класс. Помню как-то раз мы пришли в школу вечером на какой-то праздник, и я подошла к группе ребят из нашего класса и спросила с таким непринужденным видом: «А где все?» — а Шира ехидно ответила: «Бэнци — там», — и все засмеялись... Она меня подкалывала, потому что сама была в него влюблена. А в кого был влюблен Бэнци — помимо футбольной команды Макаби, — никто не знал. А еще я не уверена, знал ли он про меня. Мы это

не обсуждали. Хотя меня мучило: знает он или нет? Потому что он в любом случае должен был как-то прореагировать. Но однажды, просто в разговоре на перемене, когда мы играли в карты (нас было человек семь или восемь), он вдруг заявил, что его достало то, как все девочки в него влюбляются, типа, его это смущает, и он хотел бы, чтобы этого не было. И я, конечно, приняла это на свой счет и обиделась, и подумала: точно, он никого не любит, только футбол и споры о политике, очень мне такой нужен! Ну и вообще, к черту! Раз не надо, мне тоже не надо, не буду ничего говорить и ничего выяснять. Тем более, я его поняла, потому что сразу подумала про Алону — неужели я для него как Алон для меня?!

Но я все-таки надеялась, что мы сблизимся на весенних соревнованиях, и, может, что-то изменится. Дело в том, что мы оба хорошо прыгаем в длину. У нас даже был одинаковый результат: 3,70. Хотя для девочки это круче — так сказала Офира, наша учительница физкультуры. В общем, нас с ним послали на соревнования по легкой атлетике, представлять наш класс, и я уже мечтала, как, наконец, мы окажемся вдвоем в автобусе и, наверно, будем сидеть рядом, ведь других детей из школы мы не так хорошо знаем, и тут мы, наконец, сможем поговорить, и у него будет шанс оценить, какая я смелая и не фальшивая, как другие, и он скажет: «Мишель, ты не похожа на других девчонок...» — ну или что-то в этом роде... Но буквально за неделю до соревнований этот урод разозлился на Офиру, которая за хулиганство выгнала его с урока, и догадался громко сказать: «Офира — шлюха», — как раз когда та проходила мимо, и в наказание его отстранили от участия... И тогда я совсем сильно на него разозлилась: вот дурак, он же все испортил! Меня эти соревнования уже никак не волновали, но я все равно поехала, чтобы не подводить класс, и даже хорошо прыгнула, но было невесело. Я представляла себя таким грустным зайцем, одиноким прыгучим зайцем, который далеко прыгает и заслужил вкусную морковку или любимую капусту, заслужил, но не получил. Грусть обычно ассоциируется с неподвижностью и медлительностью, но это неправда: можно быть быстро грустным, вертеться, бегать-прыгать, и во всем этом бешеном темпе какая-то такая грусть, что даже плакать хочется. В общем, в тот день я себя очень жалела...

А потом, через пару недель, была встреча нашей группы по истории, нам дали задание собрать информацию и приготовить доклад о войне Судного дня. Встречались дома у Ширы. Она, к сожалению, была в нашей группе. Зато и Бэнци был. Это сначала я думала «зато», а потом поняла, что что совсем не «зато», а тоже — «к сожалению». Он меня просто достал, этот Бэнци! Не специально, но это не важно. Мы же не все время работали — мы и пиццу ели, и болтали. А Бэнци все время повторял одно и то же — как попугай (папа сказал бы — как испорченная пластинка): «Алон толстый, Алон много ест, ам-ам, Алон толстый!» И так весь вечер! Хотя Алону там даже не было, бедняги, он в другую группу попал, и вообще — что ему сдался этот Алон?! Мало того, что это противно — так по нему проезжаться за спиной, так еще и по-дурацки. Получается, он такой же дебил, как Моти, ничем не лучше, как же я могу быть влюблена в такого дебила?! Вот на какой мысли я себя поймала в тот вечер. Но сразу подумала, что в каком-то смысле все мальчишки дебилы... (Как раз вспомнила недавнюю вечеринку, где мы, девочки, хотели танцевать с мальчиками медленные танцы, а они вместо этого забаррикадировались на балконе, бросали шарики с водой вниз на прохожих, смеялись так, что у них кола выходила из носа, и подбрасывали в воздух чипсы и бамбу, стараясь поймать на лету ртом — ну не дебилы разве?!) Короче, если в это вдаваться, то вообще не в кого влюбляться, а без этого как-то скучно — так я тогда решила.

А в июне, когда учебный год почти закончился, на вечеринке у Рони мы играли в игру, которая называется «200 поцелуев». Играют в нее так: все сидят в кругу, и мальчик целует девочку (на выбор), а она — мальчика, а тот — другую девочку, и так далее. Надо набрать 200 очков (кто-то один из играющих записывает). Поцелуй в щеку

стоит 5 очков, а поцелуй в губы (без языка) — 10, а с языком, то есть французского поцелуя, в этой игре нет, хотя я слышала, что в седьмом классе играют и с языком, но не у нас. Сначала все друг друга только в щеку целовали, а потом Эйтан раздухарился и чмокнул меня в губы — почему-то именно меня (фу-фу-фу, конечно, потому что у него противный пушок над губой, но с другой стороны — мой первый поцелуй, можно сказать!). И пошло-поехало... Ну, не всех целовали, но почти всех, а меня где-то семь мальчиков поцеловало в губы, некоторые даже не один раз, ну и я, соответственно, столько же раз целовала мальчиков. Так вот, меня ждало открытие: оказалось, Бэнци не очень классно целуется — у него сухие, слегка шершавые и горячие губы. Зато Шахар поцеловал лучше всех — такими чуть приоткрытыми губами, и после того вечера он мне пару раз приснился, так что я не могла понять, в кого влюблена, и решила, что, раз так, значит, ни в кого... А там начались каникулы, и я Бэнци не видела, да и не до этого было — я все лето провела в разных лагерях и в поездках, и впервые была в английском лагере с ночевкой — целых две недели ночевала не дома! Но пару раз Бэнци мне снился, всегда некстати и когда я этого не ожидала. Я даже один раз во сне ему сказала: уходи, я тебя больше не люблю, так что не снись мне! Но он не послушался и приснился опять.

Пока я думала про Алона, Моти и Бэнци, про свой любовный опыт, оказалось, что не только молитва *Коль нидрей* закончилась, но вообще вечерняя служба. Я все пропустила, мой любимый вечер в году прошел мимо меня, я была в себе, в своих мыслях, то есть зря тратила время, потому что нырять в себя я могу в любой день в году. Я вынырнула, и пока мы шли домой, лихорадочно пыталась наверстать — специально медленно шла, чтобы подольше смотреть, как свет от фонарей освещает и наполняет собой белые одежды прохожих, возвращающихся из синагоги. Но как я ни старалась, не получалось увидеть, что свет струится от нас, впервые ничего не вышло. Только папа на меня прикрикнул (зло, как мне показалось): «Давай быстрее, Мишка, что ты ползешь, как улитка!»

А ночью, когда я уже лежала в постели, в голову ворвались те мысли, которые весь вечер отчаянно отгоняла и даже на время заглушила мыслями о Бэнци, но стоило расслабиться и начать засыпать, как они набросились на меня, и я просто не успела дать отпор. Во-первых, вопрос: надо ли говорить маме? Уже от одной мысли сердце пропускало удар, и мне казалось, что я сейчас разучусь дышать. Обязана ли я сказать маме, это мой долг или нет? Или, наоборот, это запрет — то есть испытание, проверка на прочность для меня, и я должна молчать, стиснуть зубы, как герой военного фильма, когда его пытаются, стиснуть зубы и зажмуриться, чтобы даже взглядом себя не выдать. Но честно ли это по отношению к маме? А если у нее есть право — знать? А тут — единственная дочь, получается, предает ее? А если я все-таки скажу, открою глаза и выпалю или малодушно напишу ей записку, то... то что тогда? Мама даст папе пощечину и обзовет его подлецом, как в кино, а потом они разведутся? А может, лучше поговорить не с ней, а с ним? Сказать ему: «Порви с любовницей, отец!» Нет, это как-то смахивает на XIX век, лучше так: «Бросай свою шлюху!» Но тут он влепит мне пощечину, это, пожалуй, слишком. А на самом деле мне хочется трясти его и кричать: «Как ты мог, как ты мог, как ты мог?» Да и кто сказал, что он бросит ее? Может, совсем наоборот? Скажет маме: «Видишь, Лили, так получилось, что Мишка узнала, и, наверно, это к лучшему: я так долго лгал, что уже сам себя презираю, а теперь я освобожу себя правдой и верну тебе твою свободу...» Да, папа вполне может сказать что-то в этом духе. В общем, какой бы сценарий я ни представляла себе, все равно получается, что в итоге они могут развестись. Даже в том случае, если промолчу и ничего не скажу. Если буду держаться и избегать папиного взгляда, но при этом очень хорошо себя вести, и подтяну математику, и дочитаю несчастных «Карамазовых» — это все равно может произойти. В любой день. Хоть завтра. Или через год. И второй

вариант еще хуже, потому что весь этот год я проживу в ожидании и страхе, убирая завалы в комнате, корпя над учебником математики и читая Достоевского (а там, кто знает, может и за Чехова примусь), и уже почти поверю, что все — пронесло, а тут вдруг зайду в гостиную, а там мама с папой с нарисованными приторными улыбочками: «Мишенька, а мы тут разводиться надумали...»

И что тогда? Как развивается сценарий? Я буду жить с папой, Мариной и ее сыновьями-подростками? Это семейная драма. А если эти противные мальчишки будут меня избивать? А если Марина окажется мачехой из сказок и будет попрекать меня куском хлеба и заставлять мыть полы? (Это уже мелодрама.) Тогда я сбегу! Или я останусь с мамой? Но мама очень мало зарабатывает своими детскими книжками — неужели она устроится на работу? Не могу представить себе маму встающей в семь утра и идущей на работу. А если мама умрет с горя? От разбитого сердца? Такое бывает, я слышала. (Меня однозначно тянет в мелодраму!) И останусь я сиротой. Ее родители — Деда Сёма и Баба Роза — уже старенькие, они маму поздно родили, у них не будет на меня сил. А папины родители живут в Иудейской пустыне и помогают воспитывать десятерых детей папиного брата (отдельная история) — только меня им не хватало! Короче, никому я не буду нужна и окажусь в детском доме, только оттуда я, несчастная сирота при живых — а может, и не совсем живых — родителей, конечно, сбегу и стану уличной, как Гаврош из романа Гюго (наконец-то, авантюрный поворот!)... А что если мама сойдется с безымянным мужем Марины — сначала из мести, а потом они полюбят друг друга, и они будут спорить с папой и Мариной о том, кому я должна достаться, и начнется страшный скандал на всю страну? (Это уже мексиканский сериал.) Почти всю ночь я не спала и ворочалась, и развивала сюжет на разные лады и в разных жанрах (под утро нашлось место даже для шпионского детектива). А когда ненадолго засыпала, то снились кошмары...

В семь часов утра я лежала в постели, измученная и злая, и думала о том, что надо позвонить Бэнци. ...Дело в том, что не так давно я опять внутренне к нему вернулась — стоило случайно попасть к нему домой после школы. И правда случайно, совершенно неожиданно и для меня, и для Бэнци. Дело в том, что в этом году нам поменяли водителя подвозки, вместо толстого, добродушного и пожилого Арика нас стал возить молодой, смуглый и злой, как скорпион, Коби. Он из этих, из религиозных, черную кипу носит, только он совсем не лучше от этого, и вся его религиозность только в том и выражается, что он дискриминирует девочек. Меня он с самого первого дня невзлюбил и начал издеваться: Моти можно сидеть спереди, например, а мне — нельзя. Почему? «Да потому, что я так сказал, что тут непонятного!» А еще: «Помолчи, женщина должна знать, когда можно, а когда нельзя разговаривать...» Или: «Тебя никто не спрашивал, куда ты лезешь? Я с Моти разговариваю!» (А Моти, гад, радовался, тихо, но радовался, очевидно, еще не забыл о нашем злосчастном «романе».) А когда Коби узнал, что я не из французов, а из «русим», так вообще осатанел. Он восточный, а восточные не любят иногда русских. (Хотя вообще у нас, в Израиле, кто-то всегда кого-то не любит, ничего удивительного.)

Коби постоянно опаздывал, а когда я жаловалась, что нас последними всегда забирают, очень грубо затыкал меня. Он ожидал какого-то повинования, покорности, думал, что запугает. Но я не из таких. И на вопрос: «Ты думаешь, ты такая умная?!» — ответила: «Да, думаю, но мой ум здесь ни при чем, а просто ты не имеешь права все время так опаздывать и заставлять нас ждать, а если с нами что-то случится? Это же твоя ответственность...» Тут он открыл варезку и начал дико орать, бешено вращая глазами. Что именно он орал, я не разобрала. Подождала, пока закончит, и спокойно процедила: «Если еще раз повысишь на меня голос, я пожалуюсь папе, и тебя уволят». Коби захлопнул рот (именно не закрыл, а захлопнул), два раза моргнул, сжал руль так, что его лицо побелело, и сказал: «Моти, садись. А тебя, маленькая мразь, я

в наказание оставляю у школы...» Моти запрыгнул в машину, я растерялась и даже не попыталась ничего сделать или сказать, и они быстро уехали. Потом папа все-таки добился того, что Коби уволили (именно из-за этого эпизода, он не имел права так делать), хотя еще пару недель он нас возил, явно сдерживая желание меня ударить, так что я старалась не пересекаться с ним взглядом — но это все было потом. А пока я стояла в шоке у школьной ограды и вдруг увидела спускающегося по каменным ступенькам Бэнци.

— Ты что тут делаешь?

— Поссорилась с водителем подвозки, и он меня тут оставил, а ты?

— Оставили в наказание после уроков...

И мы расхохотались. Бэнци спросил:

— И что теперь?

— Попробую понять, как доехать. Только мне нужно с пересадкой, а у меня как назло всего пять шекелей, на два автобусных билета не хватит...

— Слушай, пойдем ко мне. А вечером твой папа тебя заберет. У меня никого дома нет, но прямо у дома бургер кинг, и мама дала деньги: мы там можем пообедать, приглашаю. Она немножко больше дала денег. Правда, картошку-фри придется поделить на двоих. А потом я тебе покажу, как забивать угловой. Хочешь?

Еще бы! Конечно, я хотела. Мы сидели в автобусе плечом к плечу (как раз так, как я мечтала перед несостоявшейся совместной поездкой на соревнования). А потом ели картошку-фри из одного пакета. А я еще слизала всю соль со дна пакета, и Бэнци сказал:

— У тебя губы красные.

И я почувствовала себя, как героиня фильма — губы саднили, я знала, что они чуть припухли. А еще Бэнци сказал:

— Ты всегда говоришь последнее слово, да? Это то, что произошло с водителем подвозки?

И я кивнула. А потом, когда он учил меня забивать угловой и каким-то своим, особенным, жестом вытирал пот со лба, смуглого лба, такого цвета, каким мое лицо никогда не будет, сколько бы я ни загорала, и дул вверх, чтобы охладиться, и делал глоток из бутылки с водой, а один раз пролил немного воды на футболку, и на ней появилось мокрое пятно, и на его коже тоже блестели капли воды... В общем, достаточно было одного дня, чтобы я поняла: моя любовь к нему никуда не девалась, я ее просто держала «на маленьком огне», а тут она разгорелась с новой силой и хлынула через все преграды. Обычно «хлынула» говорят про воду, а у меня хлынул огонь — таким потоком, что внутри меня стало горячо.

Поэтому я лежала в постели и думала о том, что надо позвонить Бэнци. Только надо дождаться восьми, чтобы не разбудить никого. Тем более, у Бэнци родители — восточные, они, может, даже и постыятся...

— Привет!

— Привет!

— Это я...

— Угу.

— Мишель.

— Я понял.

— Слушай, у меня есть одна идея.

— Ну?

— Просто очень надо смотаться из дома и...

— Давай!

— ...поедем кататься на роликах по дорогам...

— Ты глухая? Давай! Только как ты до меня доедешь или я до тебя?

- Черт. Об этом я не подумала. Ну ладно, значит...
- Подожди... Я попрошу брата подвезти меня на горном велике до моста в Гиват Шмуэль.
- А он согласится?
- Он мой должник, я вчера смылся из дома на весь вечер, чтобы он мог обжиматься со своей девушкой... Знаешь, где мост?
- Конечно.
- Ты точно на роликах доедешь? Справишься?
- Не сомневайся.
- Ну, пока.
- Пока.

Мама и папа еще спят, и будить их ни к чему, совсем ни к чему. Быстро напяливаю джинсы и белую майку, потом меняю белую майку на синюю — не хочу быть в белом, не белое у меня настроение — в этот Судный день все пошло наперекосяк, и не хочу я быть кораблем в утреннем свете, тем более, что все пойдут в синагогу, а я — на трассу, на пустынную трассу. У каждого своя пустыня. Меняю майку и вылетаю из дома. Бэнци на горном велике брата ехать минут сорок, а вот сколько ехать мне — непонятно. На автобусе — всего пара остановок, но на роликах? Зато можно ехать напрямую и сворачивать где угодно, и вот я уже еду, мчусь, рассекаю серый асфальт на своих новых зеленых роликах — сначала по нашей сонной улочке, потом по двусторонней улице, которая ведет прямо к университету, а потом поворачиваю, и у светофора — еще раз, и попадаю прямо на трассу. Отсюда уже по прямой, долго, но по прямой. Это шоссе, соединяющее Рамат Илан, Гиват Шмуэль и Бней Брак, зовется Геа, а многие называют его геэном (ад), потому что оно всегда переполненное машинами, шумное, и там вечно пробки. А сейчас там никого нет, кроме одной худенькой девочки на зеленых роликах, да еще встречаются одинокие велосипедисты, некоторые бросают на меня удивленные взгляды, а кто-то не замечает, а я наслаждаюсь своим почти полным одиночеством.

Через пару часов дороги заполонят дети и подростки на роликах и велосипедах (хотя в такие далекие поездки мало кто пускается), а пока — утро, и трасса на самом деле напоминает пустыню: серая, асфальтовая пустыня, утреннее сероватое небо, довольно пасмурное. И я еду, еду, левой, правой, левой, правой, держать наклон чуть вперед — все, как учили, а ведь я хорошо катаюсь, отмериваю роликами ровный асфальт, проезжаю на красный — какая разница? И хочу визжать, кричать от восторга, от своей полной, безраздельной власти над этой большой трассой, и так хорошо, что папа, Марина, мама, весь этот запутанный клубок, и все мои ночные кошмары отступают и кажутся нелепыми, ведь есть только эта серая пустыня, которую я завоевываю, прямо вот сейчас, своими ногами и битыми, острыми коленками, тем более, что лечу навстречу Бэнци, и вместе нас ждет какое-то совсем удивительное приключение... И я даже не замечаю, что солнце в небе все выше, начинает припекать, и на то, что хочется пить и немного гудят ноги, не обращаю внимания — потому что все в моем теле направлено вперед и глаза делают основную работу, поглощая асфальтный городской пейзаж. Это глаза наматывают километр за километром и освобождают меня, дарят мне этот чудесный роликовый полет, самозабвенный одинокий танец... И тут я наконец подъезжаю к мосту, к условленному месту встречи, и как будто вмиг возвращается чувство собственного тела, и я понимаю, что вспотела и майка прилипла к спине, и что у меня болят ноги, и хочется пить, а самое главное — Бэнци нигде нет.

Мы договорились встретиться на автобусной остановке — так проще всего. Может, я не на той стороне? Взмываю вверх по ступенькам, перебегаю мост, спускаюсь — тоже никого. Нет, все правильно, думаю, раз они едут из Рамат Гана, то

та сторона — правильная. Бегу обратно. Они просто опаздывают. Может, у брата Бэнци проколосось колесо. Тогда они нескоро доедут... А вдруг что-то случилось, они развернулись и поехали обратно домой? О, нет, этого просто не может быть, это было бы слишком жестоко, я это не переживу — после полета по шоссе Гэа — такой облом? Вот если бы можно было взять с собой из дома телефон и позвонить... Папа уже рассказывал, что такие телефоны есть — где-то в Америке, но очень мало у кого, телефоны, которые работают без провода на батарейках, и их можно брать с собой в любое место. Как удобно... Но что-то в них не так. Пропадает возможность приключения. Как можно по-настоящему заблудиться, если у тебя с собой телефон? Или разминуться? Разминуться — это приключение, уговариваю я себя, у меня сейчас — не в прошлом на шоссе и не в будущем с Бэнци, а прямо сейчас — приключение. Стараюсь отключиться от боли в ногах, от жажды, просто сделать вид, что этого не существует.

Я стою на остановке у моста, перед глазами, на противоположной стороне, огромная вывеска кока-колы, я смотрю на нее и жду. Мимо проходят люди в белых одеждах, наверняка идут в синагогу — или возвращаются уже? Сколько же прошло времени? (Я не ношу часы — из принципа, мне нравится ощущать время изнутри, а не узнавать его по ходу циферблата, и вот теперь — пожалуйста, меня полностью подводит чутье, я не знаю, сколько времени жду — десять минут? пятнадцать? полчаса?) Почему в синагогу вдоль шоссе? Откуда они идут? Некоторые в черных костюмах и шляпах — по такой жаре! Ультра-ортодоксы, как они могут в таких костюмах? Они ведь еще и постятся. При этой мысли еще сильнее хочется пить... Один, совсем молодой, ехидно бросает: «Девочка, не жди автобуса, он не придет». Он, что, думает, что я — совсем дебилка? Или иностранка? Кем нужно быть, чтобы ждать автобус в Израиле в Судный день?! Могу же я просто стоять на остановке! Я не отвечаю и продолжаю смотреть на горящие красным огнем железные буквы «кока-кола», но на глаза наплывает белое. Это женщины, они в белых платьях и косынках — те, кто не в париках, — и в белых чулках. Как странники (странницы) в пустыне асфальта. Подмывает спросить, где ближайший оазис, но боюсь ответа, боюсь, что это мираж... А вот и он — настоящий мираж: злое, еще больше потемневшее от ярости лицо Бэнци. Нет, не мираж: он спрыгивает с багажника горного велосипеда, его брат швыряет ему вслед ролики и уматывает. Вот он на меня уже кричит:

— Я тебя час ищу, час! Я уже почти сдался! Почти уехал домой! Да знаешь, сколько всего я успел пообещать брату, чтобы он меня тут не бросил?!

— Но я тоже...

— Да не тот мост! — орет Бэнци. — Не тот!

— Как не тот? Тот самый — у Кока-Колы. Какой еще?

— Да триста метров отсюда, дура!

— Но там уже не Гиват-Шмуэль, там Бней-Брак.

— Это рядом, РЯДОМ с Бней-Браком, ближе к нему, но это Гиват-Шмуэль!

— Так откуда мне знать, какой мост?

— Я сказал: мост, который ближе к Рамат-Гану! Дура!

— А как ты вообще меня нашел?

— Догадался! Знаю, что у тебя в голове, что ты не ориентируешься и вообще плохо знаешь Израиль, как все русские!

— Не смей: это мы построили страну!..

— Ха!

— Зато ты чуть что истеришь, как все *триполитаим!*

— Что-о-о? — Бэнци уже смеется. Он и правда очень горячий, нетерпеливый, но за то как быстро его гнев переходит в смех, я в него влюбилась.

— Дай попить, Бэнци, я умираю просто.

— Ты не взяла воду? Совсем ку-ку? Ты где родилась, в Сибири?

— Здесь! Просто забыла.

- Тупая блондинка?
- Какая я блондинка?
- Тебя «блондинка» возмущает, а не слово «тупая»? Ну, для меня блондинка...
- А ты жадный, как все восточные, — жалеешь мне глоток воды.
- Да нет, конечно, пей: только все не прикончи, вдруг по дороге не будет кулеров.

Все, хватит уже, стоп, стоп!

И я жадно пью из литровой бутылки Бэнци, на горлышке еще остался вкус его губ, и я пью не только воду, такую спасительную в пустыне, но и весь этот день, и в капельке воды на моей коже отражаются терракотовое небо и асфальт, и слизываю и ее. Теперь можно ехать дальше.

Решаем попробовать найти дорогу к дому Бэнци. А оттуда меня папа вечером заберет.

— Помнишь эту сказку про Гензеля и Гретель? Тебе надо было с велика брата хлебные крошки разбрасывать...

— Ну я же хорошо ориентируюсь, не то что некоторые.

Во время этого разговора мы уже всюду едем дальше по шоссе Геа. Нет, не держась за руки, как в дурацком кино, да и не хочется даже — ладони липкие, потные, но плечо к плечу, размашистыми движениями. Бэнци пониже меня, но совсем чуть-чуть. А я еще широко размахиваю руками, и он меня передразнивает, но мы едем, держим темп, уже проехали тот другой, злополучный, мост, и вдруг Бэнци говорит:

— Надо съехать с шоссе. Ищи съезд.

— Зачем?

— Догадайся.

— Не могу догадаться.

— Ну, во-первых, мне надо отлить (именно так и выразился — «отлить», а не «пописать», как малыши говорят)... А во-вторых, это слишком просто — отсюда найти мой дом. Четыре поворота, и я их знаю. А я хочу уровень посложней, как в компьютерной игре. Давай свернем, а потом будем искать правильную дорогу...

Спорить с Бэнци бессмысленно. Да мне и нравится его план. Как раз в моем духе. Только «компьютерная игра» — из чужого словаря. Но, главное, есть точка пересечения. Все равно мы с ним одной крови — я и Бэнци. Интересно, читал ли он «Маугли»? Он, наверно, не очень любит читать. Но даже это я готова ему простить.

— Поймай тут, — говорит Бэнци и уходит в кусты. Совершенно не смущаясь, как будто так и надо. Вспоминаю, как Моти на том «свидании» рассказывал, что знает, «где покакать». Я испорчена своими «русскими» родителями и их русским воспитанием, я другая. Иногда мне даже кажется, что я — «ненастоящая» израильтянка. Но тогда кто я?

Поворачиваюсь спиной к кустам, очень надеюсь, что не услышу, как Бэнци «отливает», упираюсь взглядом в заколоченный киоск и читаю наклеенную на него рекламу, и вдруг какое-то шевеление в кустах. Только оттуда выходит не Бэнци, а пес. Не просто пес, а как будто придуманный специально для меня. Золотистый ретривер, но не белесый, а темно-золотой, то есть практически рыжий — как я. Сразу подходит ко мне и ластится, трется мордой о мою руку. На секунду мелькает мысль: а вдруг это Бэнци превратился в собаку? Но нет, Бэнци стал бы гладкошерстным пятнистым пойнтером или поджарой гончей шоколадного цвета. А вскоре из кустов выходит и сам Бэнци — в нормальном, человеческом, виде.

— Поехали? — Бэнци делает вид, что никакого пса нет.

— Смотри, у него же нет ошейника. Его выбросили на улицу! Мы должны его взять!

— Куда? Мои родители не согласятся на собаку.

— Мои согласятся. Наверное. Но это неважно, надо просто найти ему дом.

— Но мы же едем ко мне. Я даже на полчаса не могу впустить к себе это чудище.

По моему лицу уже струятся слезы. Вот этого я не смущаюсь. Если мне нужно плакать, то плачу, плевать, что кто-то видит. То есть из-за мальчика не стала бы, но из-за собаки — совсем другое дело. Бэнци сдаётся:

— Ну ладно. Мы его привяжем во дворе, когда ко мне поднимемся.

— Я его не брошу.

— Ну хорошо-хорошо. Только не плачь.

— Он, наверно, голодный, и пить хочет, смотри, как он тяжело дышит...

Выхватываю у Бэнци бутылку — он даже не успевает ничего сказать. Оглядываюсь — где мусорка? Возле мусорки всегда можно найти какую-нибудь пластмассовую емкость. Но, как назло, ничего не видно. Открываю мусорный бак и нахожу пустую коробку из-под коттэдж-чиз. Наливаю туда воды, и Бэнци сразу кричит:

— Стоп, стоп, ты на это животное всю воду истратишь!

Потом принюхивается, морщится и говорит:

— Фу, от тебя пахнет мусором. — И я инстинктивно выливаю остаток воды на руки, а Бэнци дико вопит: — Теперь ищи кулер, ищи кулер! А то у нас будет солнечный удар!

Но я его даже не слушаю. Пес — мой пес — жадно пьет воду. А потом благодарно лижет мои руки. Бэнци опять морщится. Мне все равно.

Мы катимся дальше — не по трассе, а по тихим, незнакомым улицам — а пес бежит за нами. Я стараюсь ехать не так быстро, чтобы пес не выбился из сил, а Бэнци раздражается и, наоборот, прибавляет ходу. Так мы и мчимся гуськом: впереди смуглый мальчишка в красных штанах футбольной команды Макаби, следом за ним — рыжая белокожая девчонка в синей футболке, а за ней — рыжий золотистый ретривер. А вокруг нас подозрительно меняется фон. Все меньше людей в обычной одежде. Все больше мужчин в черных шляпах и черных костюмах, хотя их и не так много — уже полдень, а то и позже, все сидят по домам или в синагоге, но определенно все больше и больше черной ткани, угрожающих черных шляп...

— Бэнци, — кричу я, и он оборачивается, — Бэнци!.. Мы не там свернули, Бэнци.

Бэнци все еще зол на меня, но тут он смотрит вокруг, и я вижу на его лице легкий испуг.

— Бэнци, — говорю я дрожащим голосом, — мы заехали в Бней-Брак...

Мы с Бэнци смотрим друг на друга. Но делать нечего. Повернуть назад? Но куда?

Любой израильтянин сразу поймет, почему нам беспокойно и почему мы говорим «заехали в Бней-Брак» с почти такой же, полной ужаса интонацией, как если бы «заехали в Газу»... Про религиозных из Бней-Брака рассказывают кучу историй: как они закидывают камнями заезжающие к ним в субботу машины или плюют в «нескромно» одетых женщин, которые забрели в их район. А у нас двойное преступление: правда, не на машине, на роликах, но не в субботу, а в «субботу всех суббот», самый святой день — Йом-Киппур (а мы эту святость нарушаем). Вдобавок я — еще, конечно, не женщина, у меня даже грудь не очень-то пока растёт, — но одета совсем не скромно: джинсовые шорты и майка без рукавов, видны острые локти и острые коленки...

А у меня еще дополнительное отторжение от Бней-Брака, от черных шляп, от слова «религиозный» — из-за того, что произошло в нашей семье. Папин младший брат Гершон (в прошлом Гриша) каким-то образом вместо армии попал в ешиву и так в ней и остался, потом женился и переехал из Иерусалима на территории в Иудейскую пустыню (не из каких-нибудь идеологических соображений, просто там жилье дешевле). А мой папа — мой принципиальный воинственно настроенный папа — не смог этого пережить, назвал Гершона бездельником и нахлебником, обвинил его в том, что тот использует государство, и порвал с ним. То есть совсем перестал общаться с родным

братом. Это случилось еще до моего рождения, с тех пор у Гершона родилось десять детей — мои двоюродные братья и сестры, но я ни разу их не видела, потому что мне папа тоже запрещает с ними общаться. На всякий случай, чтобы я не «набралась глупостей». Папины родители очень переживают, но не смеют папе ничего сказать. К ним у папы отдельный счет. Ведь когда у Гершона стали рождаться дети, бабушка с бабушкой перебрались в Иудейскую пустыню — в соседнее поселение Эфрат (оно больше и не такое исключительно религиозное, как поселение дяди). Они к ним ездят почти каждый день и помогают, хотя если верить рассказам Майки, жена Гершона сама прекрасно справляется — она быстрая и сильная. Как терминатор, но в хорошем смысле.

Майка — это папина и Гришина сестра, самая младшая. Она приехала в Израиль совсем малышкой — поздний ребенок. Ей уже скоро 25 лет, но она даже не думает о замужестве и делает что хочет. То работает, то учится, и все никак не может найти себя. Я ее обожаю. И мой папа тоже, хотя он строг с ней, как будто она его ребенок, а не сестра. С Гершоном сестра тоже общается, часто их навещает в поселении и не раз говорила папе, что он — дурак. То есть Гершона Майка тоже считает слегка поехавшим, но она его любит — в конце концов, он счастлив, пусть живет как хочет. А папу она называет упрямым ослом — я слышала. Это только ей дозволено. Но и на нее папа огрызается. Про Гершона и слышать не хочет. И на своих родителей затаил обиду — что они предпочли брата, а не его, он это так понимает. В общем, у нас в семье ультра-ортодоксы — большая тема. И при виде черных шляп и черных костюмов я чувствую, что сжимаюсь, съеживаюсь, становлюсь очень маленькой...

Воды у нас нет, я истратила последнюю на собаку, и теперь у меня легкое чувство вины, хотя я все равно ни о чем не жалею. У Бэнци урчит в животе. Я тоже ужасно хочу есть. И пить. И писать. И сесть (а еще лучше — лечь). И домой. Мы автоматически продолжаем нестись вперед, не сбавляя темпа, и вот уже окончательно ясно — по вывескам, по прохожим, да и, в конце концов, мы знаем этот район — мы в Бней-Браке! Прохожие — и мужчины (черные шляпы, бороды), и женщины (в платках, полностью покрывающих волосы, или в роскошных париках из настоящих волос, в толстых или прозрачных чулках, в платьях, закрывающих колени, с длинными рукавами) — смотрят на нас с любопытством. Без злости, просто с любопытством. Но мне и от этого не по себе. Дистанция между мной и Бэнци сократилась (так нам уверенней) — мы уже не едем, а понуро идем, насколько можно «идти» на роликах, и сзади плетется мой бедный найденный пес, но не отстает. Я все жду: когда же в нас кто-то плюнет? Или бросит камень? И от испуга пялюсь в лица прохожих: кто? Кто первый? Вспоминаю русский стишок, который мама читала мне в детстве: «А в избушке — Людоед: заходитка на обед»... А тут куда ни посмотри — потенциальный людоед, логово людоедов, и мы сами сюда пришли: давайте, пообедайте нами! И вдруг, от напряжения, неожиданно для самой себя, начинаю реветь... Бэнци и пес смотрят на меня в недоумении и, кажется, сейчас сами заревут...

И тут чей-то звонкий, задорный голос говорит: «Дети! Дети!» — и я понимаю, что обращаются к нам. Поднимаю зареванное лицо и вижу близорукие голубые глаза под очками в толстой оправе, рыхлое, как будто чуть опухшее, лицо, парик — каштановое каре, кремового цвета платье на теле, которое как будто сделано из булочек разных размеров. Такое несоответствие этого девичьего, почти детского голоса с его обладательницей, что не нахожу слов и тупо молчу. «Как вас зовут? Я Хани! Что у вас стряслось, дети?» Надо же, и имя не соответствует. Если бы Хана — тогда да, понятно — почтенная мать семейства, а тут — Хани, как будто девчонка. Но, похоже, нами никто не собирается обедать. Перестаю реветь, вытираю рукой глаза. Из-за массивной спины Хани выглядывают пять или шесть девочек — разных возрастов, но все, как одна, — копия матери, разве что без парика и не такие круглые. Как матрешки, думаю. И сбивчиво, путано начинаю объяснять, что мы заблудились, нашли пса,

закончилась вода, дом далеко и даже не совсем понятно, где именно... Бэнци молчит, наверное, думает, что я и сама неплохо справляюсь. «Сколько вам лет, дети? — спрашивает Хани. — У тебя еще не было бар-мицвы, мальчик?» «Нет, я в шестом классе, мне даже двенадцати нет», — послушно отвечает Бэнци. «А тебе? Есть двенадцать?» Качаю головой: «В декабре будет». А сама думаю: какое ей дело, сколько нам лет? Хани расплывается в улыбке, от которой ее лицо становится еще шире, а глаза превращаются в щелочки: «Отлично! Замечательно! Тогда можно вас и накормить, и напоить!» Точно, как же я не догадалась: ведь мы, получается, несовершеннолетние и по еврейским законам не обязаны соблюдать пост. От усталости я страшно туплю и продолжаю молча смотреть на Хани зареванными глазами. «Пойдемте, — говорит она, — мы вас не съедим!» И я невольно улыбаюсь: как она догадалась, о чем я только что думала?

Мы плетемся за Хани и ее матрешками, только в другом порядке: я, пес, а следом — взъерошенный, озирающийся по сторонам Бэнци. У подъезда Хани говорит: «Это твоя собака?» Я киваю прежде, чем Бэнци успеваает что-то сказать. «Собаку придется оставить здесь, она тебя подождет», — говорит Хани и слегка пожимает плечами, как будто извиняется — можно подумать, это такой печальный и объективный факт, от нее не зависящий. Яростно мотаю головой: «Я не могу его бросить, он мой, мой!» Выпаливаю, как будто спорю с кем-то. «Ну хорошо, — на лице Хани все та же ровная, спокойная улыбка. — Я тебе сюда все принесу. Мальчик, ты поднимешься?» Бэнци качает головой — он как будто онемел. Хани опять пожимает плечами, она, наверно, думает, что мы очень странные. «Ну как хотите», — весело говорит она, ничуть не обидевшись. Через десять минут она спускается с подносом, на котором куча разной еды, бутылка минеральной воды и одноразовая посуда, а старшие девочки держат в руках пластмассовые стулья. «Вы же не лошади, чтобы есть стоя, — говорит Хани и смеется, чуть закинув голову, и тут же бросает старшей девочке: — Ривки, тебе надо держаться, лучше уйди от соблазна». Но Ривки поводит плечом в знак отказа — как в их семье любят этот жест! (А у нас есть такой жест — объединяющий? Нет, у каждого свои характерные жесты. Может, поэтому мы и не настоящая семья? Нет, не буду об этом сейчас думать...)

Мы с Бэнци почти хором говорим «спасибо», и Хани опять заливается смехом, а потом молчим, потому что наши рты заняты гуляшом и яичным салатом. Мне хочется покормить пса, но под пристальным взглядом Хани это сложно сделать. Набираюсь смелости и спрашиваю: «А почему вы не любите собак?» «Мы хорошо относимся к собакам», — невозмутимо отвечает Хани, и я приободряюсь и даю псу попить из моего стакана — вроде компромисса. «Просто у нас не принято держать их дома». — «А почему?» не унимаюсь я, игнорируя взгляд Бэнци, который как бы говорит: «Какая тебе разница? Не лезь!» — «Знаешь, что означает слово *собака*? — спрашивает Хани. — *Кэлэв* — то есть *коль лэв*: буквально «весь — сердце». Собака все делает только сердцем, все ее порывы и побуждения — все от сердца». — «Да, так и есть! — перебиваю я. — Но ведь это прекрасно! Пес — весь сердце, да!» — «Не совсем прекрасно, — мягко возражает Хани. — Как же насчет разума? Человеку полагается руководствоваться разумом, а не чувствами. Поэтому мы не держим их дома, чтобы не брать с них пример». Я украдкой скармливаю псу кусочек мяса из гуляша, он облизывает мои руки и заглядывает в глаза своими золотистыми глазами, и в них уже любовь. Весь сердце, весь сердце. Не так уж это плохо...

«Останьтесь у нас пока не выйдет Йом-киппур, — предлагает Хани. — Отдохнете, а потом позвоним вашим родителям, они вас заберут. Уже через несколько часов стемнеет». «Сейчас разве не полдень?» — говорю с ужасом. Хани смеется: «Сейчас почти три часа дня! А почему ты не носишь часы?..» — «Я... Мне нравится угадывать время... Хани, мои родители, наверно, с ума сошли от волнения, мне надо срочно домой — сейчас». — «И мои тоже.» Это первое, что сказал Бэнци за все это время кроме «спасибо». Хани пожимает плечами — уговаривать не будет. Только объясняет нам,

куда свернуть, чтобы выехать из Бней-Брака обратно на трассу — там уже разберемся по указателям. «Мы пойдем?» — то ли говорю, то ли спрашиваю. И тут одна из девочек, вторая или третья по старшинству, выкрикивает мне в лицо: «А это правда, что ты не веришь в Бога?» И я сразу резко отвечаю: «Нет, неправда!» — просто из чувства протеста, хотя на самом деле я не знаю, я даже не задумывалась, тем более, у нас дома не принято об этом говорить. И мне самой страшно оттого, что я могу сейчас узнать, поэтому поворачиваюсь спиной, чтобы не видеть реакцию Хани и ее дочерей, и уже спиной еще раз кричу: «Спасибо, Хани, большое спасибо!» — и еду вниз по улочке, по направлению к трассе, дальше от этого города черных шляп, белых чулок и платьев, от остатков яичного салата и пластмассовых стульев, от вопросов о Боге, а Бэнци и пес едва поспевают за мной, а я даже не оглядываюсь назад, как будто боюсь обратиться в соляной столб. Мы выезжаем на трассу, и только тут я понимаю, что в этом покинутом мной городе, который строго и едино соблюдает пост — от заката до заката — случилось то, чего я внутренне всегда желаю: время там остановилось, не навсегда, но на эти сутки. Не зря я боялась оглядываться назад — в такие города опасно заезжать. Но именно сегодня я могла делать то, что мне нравится, — чувствовать время изнутри. При этом я промахнулась. Просчиталась. Часа на три. Может, из-за того, что нарушила какое-то правило?

Через час мы доковыляли обратно к тому месту, откуда начинали путешествие, — к автобусной остановке у моста напротив щита с символом кока-колы... Я вижу, что Бэнци еле стоит на ногах, но понимаю, что он в этом ни за что не признается. И, пожалев его, протягиваю жалобным голосом: «У меня скоро ноги отвалятся». Тем более, это правда. Я знаю, что недалеко от моста — детская площадка. Мы бредем к ней, снимаем ролики и валимся на траву. А пес ложится рядом — он нас сторожит.

— Позвоним родителям? — Бэнци кивает в сторону автомата на углу.

— Потом. Они все равно не смогут выехать, пока не стемнело.

— Но они волнуются, ты сама говорила!

Пожимаю плечами.

— Я позвоню своим.

Бэнци надевает ролики, катится к автомату и сразу возвращается:

— Черт, у меня же карточки нет.

Еще недавно нужна была монетка — асимон, эти монетки звенели в кошельке, часто путаясь с шекелями, хотя асимон чуть больше, и в нем дырка. А теперь — всё, асимоны стали ненужными, как и наша старая валюта — лиры (но лиры были задолго до моего рождения). Теперь у всех карточки. И у меня тоже — дома.

— Поищи наверху, — говорю. — На самом автомате сверху. Иногда бывает, что кто-то оставляет карточку, на которой совсем мало денег, но на один звонок хватит.

Невероятно, но я права! Бэнци звонит своему папе и успевает сказать, где мы — тут разговор прерывается.

— Повезло! — ухмыляется Бэнци. — У папы не было шанса высказать все, что обо мне думает. А пока приедет, поостынет.

Смотрю на часы. До темноты еще как минимум час.

— А почему ты не хотела звонить своим родителям, Мишель?

Пожимаю плечами. Хороший у Хани этот жест, может выразить что угодно — надо взять его на вооружение. Меняю тему:

— Они ничего оказались, да?

— Кто?

— Эта семья: Хани и дочки. То есть, если бы не они, не знаю, что бы мы делали...

— А ты что думала? — хмыкает Бэнци. — Религиозные — такие же люди, как мы.

— Ты это серьезно? Ты это мне говоришь после того, как все время молчал, как будто кошка съела твой язык?!

— Просто не знал, о чем говорить, ну и боялся что-то ляпнуть обидное.

— А говоришь: «Такие же, как мы».

— Такие же люди. Но другие, ясное дело. Может, этим девочкам вообще нельзя с мальчиками разговаривать, откуда я знаю?

— Ну, это ты уже загнул. Но в игру «двести поцелуев» они точно не играют — это точно!

И мы оба смеемся и стараемся сделать вид, что упоминание поцелуев нас совсем не смущает — мы же не такие, не религиозные, мы — нормальные. Хотя нормальные ли?..

— Но ведь вы — восточные — все немного религиозные, да?

— Мы соблюдаем традиции, это не то же самое. Мы просто не смешивались, в отличие от вас, и всегда продолжали быть евреями.

— Откуда ты знаешь про «нас»? В семье моей мамы были раввины — семь поколений! И у папы тоже какие-то там раввины были, просто не столько, как у мамы. А его дедушка полюбил революцию и верил в коммунистическую партию, а его папа, кажется, сам не знал во что верил, ну а мой папа — он... он атеист.

— Значит, это становится все хуже и хуже с каждым поколением? — смеется Бэнци. — Ты тогда должна стать сатанисткой или типа того...

— Перестань! И кто сказал, что не верить — это плохо? Или хуже?

— Надо во что-то верить.

— А ты сам... веришь в Бога?

— Конечно. Я это просто особо не анализировал. Но я вообще думаю, что атеистов не бывает. Все верят в Бога, просто по-разному, и по-разному это называют.

— Интересная мысль.

— А ты Хани наврала? Ты ведь не веришь?

— Не знаю. Я еще не решила. Иногда кажется, что верю. А иногда... просто злюсь, потому что... Так много запретов — мне это не нравится. И еще религиозные иногда так ужасно одеваются — неужели это Бог так хочет? Ведь если Бог — это Абсолют, значит, все должно быть красивое...

— Но запреты — они тоже могут быть красивыми. Иначе все дозволено, и это уже безобразно. Как то, что Хани сказала про собак. Если только сердце тебя ведет, то рано или поздно это плохо закончится. Вот и есть запреты — ограничить сердце. Понимаешь?

— Кажется, да. Я ведь люблю Судный день — это мой любимый день в году.

— Да ладно?

— Ага. Самый красивый день. Хотя больше всего запретов.

— Ты странная.

— Ты же сам говорил...

— Но ты ведь эти запреты не выполняешь. Вот мы с тобой поехали на роликах...

— Мы дети, нам можно.

— А через год не поедешь? Будешь поститься?

— Не знаю, не знаю! Что ты пристал ко мне, Бэнци? Я не знаю! Я сама не понимаю. И что, Богу правда так приспичило, чтобы я постилась и не пользовалась транспортом или не смотрела телек в шаббат и не ела колбасу с маслом? Думаешь, ему это так все важно?

— Я тебе раввин, что ли? И кто к кому пристаёт?

— Нет, скажи: разве не достаточно того, что я думаю, что Йом-киппур — это очень красиво, того, что я люблю этим днем?

— Но ты любишься снаружи, получается, ты не часть этого.

— Часть! Когда я иду в синагогу слушать *Коль нидрей* — я часть. И вообще, может, красивое можно только со стороны так увидеть. Я вообще часто со стороны. Как бы здесь, но одновременно со стороны.

— То есть?

— Ну, не важно. Это сложно объяснить.

— Ты реально странная.

— Какая есть.

— Да нет... Это комплимент.

И в глазах у Бэнци то, о чем я мечтала, то, о чем даже боялась мечтать, но вместо сумасшедшей радости я испытываю страх, мелкий и беспомощный страх, и делаю вид, что ничего не заметила.

— А еще я Тору люблю.

— Что-о-о?

— Да, это мой любимый предмет.

— Скучотища.

— А какой твой любимый предмет?

— Спорт.

Я рада, что Бэнци так сказал. Он подарил мне объективную причину перестать любить его, и к черту все мои усилия с футболом и угловым мячом...

— А что тебе так в Торе нравится? Тебя правда волнуют все эти люди, которые жили много тысяч лет назад, и которых, скорее всего, вообще не было?..

— Ты не понимаешь. Это же про нас. И про нас тоже. Все эти истории. Неужели ты не видишь?

— Ну-у-у...

— Знаешь, какой мой любимый момент?

— Ну?

— Про Йосефа. Когда он уже стал могущественным человеком в Египте, второй рукой Фараона, и из земли Ханаанской приходят его братья просить хлеба, потому что везде голод, кроме Египта, и братья не узнают его, а он-то их узнал, но не выдает себя, говорит с ними через переводчика, подвергает их испытаниям, в том числе подкидывает серебряный кубок в мешок Биньямина, якобы тот его украл и должен теперь в наказание остаться в Египте, а старший брат — Йегуда — говорит: «Нет, мы не можем вернуться без Биньямина, ведь один наш брат уже погиб, и от любимой Рахели только Биньямин остался у отца, возьми лучше меня, только отпусти Биньямина...»

— Да помню я, что ты пересказываешь? Я, конечно, не лучший ученик, но не настолько!

— Ну, мало ли. Шутка. Не перебивай, Бэнци, я подхожу к тому, что меня волнует. Вот он, мой любимый момент: Йосеф видит, что братья раскаялись, что они казнят себя за то, что продали его в рабство, и может, наконец, не сдерживаться больше, отпустить свою обиду, и он кричит страшным голосом — помнишь? — именно страшным, потому что ему тяжело уже сдерживаться — кричит, чтобы все вышли и оставили его наедине с братьями, и плачет, плачет от облегчения, потому что именно в этот момент он простил их, а потом говорит уже на иврите: «Я — Йосеф, брат ваш!» И они, наверно, тоже плачут и бросаются обнимать друг друга — там подробно не написано, но самый главный момент вот этот, когда он плачет и снимает с себя «маску», и открывает кто он, вот эта первая фраза на иврите — как такой очень счастливый и настоящий конец спектакля. А еще — очень приятно, должно быть, простить, после стольких лет, увидеть своих братьев, униженных и зависящих от него, и понять, что нет гнева и обиды на них, а есть только любовь, и что они — родные люди, и простить — как же это должно быть приятно! И красиво. Это очень красиво...

— Ну ты даешь.

— А у тебя есть любимый момент? Должен ведь быть.

— Не знаю. Я не умею так говорить, как ты — красиво. — Смеется. — Но мне просто... Мне всегда было жалко Эсава. Мне казалось, что он больше любил и почитал отца, чем Яаков. Ну, неспособный был, поэтому не учил Тору, а охотился. Но получается, этот Яаков сидел в шатре и учил Тору, весь такой возвышенный и недосыгаемый, а Эсав — он простой, неотесанный, он Ицхака кормил, брил ему бороду, ухаживал за ним — такие простые человеческие вещи...

— Так Ицхак его и любил больше.

— Да, но Бог больше любил Яакова, и первородство получил Яаков — еще и обманом. Где тут справедливость? И почему... Почему Бог предпочитает умников? Так ведь получается...

Нет, все-таки не так просто будет перестать любить Бэнци. Но я постараюсь. Я обязана.

Мы оба так устали, что даже говорить нет сил, и разговор сам собой угасает. Мы молча лежим на траве и смотрим вверх, в начинающее темнеть небо. Я засыпаю, и мне снится очень странный сон. Во сне я вершу суд над папой и мамой. Я и судья, и обвинитель в одном лице, а адвокатов у папы с мамой нет, они защищают каждый сам себя. Начинаю я с папы:

— Вызываю обвиняемого Зээва (Владимира) Аронсона, также известного как профессор Аронсон. Как ты предпочитаешь, чтобы к тебе обращались?

Папа смущенно улыбается, как бы давая понять, что ему все равно.

— Хорошо, тогда, противный Володька Аронсон, отвечай правосудию: как ты мог завести роман с этой жирной, прокуренной Мариной? Как мог рисковать своей семьей?

— Так получилось, я это не планировал, просто вспыхнула искра и...

— Вспыхнула искра? — передразниваю я. — Какое банальное выражение для профессора литературы!

— Так получилось, — беспомощно повторяет папа, — так получилось...

— Получилось, да? — свирепо накидываюсь я. — Ты что, Володя, трехлетний мальчик, который описался? Тебе уже под сорок, у тебя появились первые седые волосы, ты начинаешь лысеть!

— Где? Где? — пугается папа и запускает ладонь в свою шевелюру. — Покажи мне, где, это неправда, я протестую!

— Ах вот в чем дело, Володя, вот что тебя волнует! Это кризис средних лет? Ты хотел доказать, что все еще красивый, что тебя любят женщины? А как больно будет Лили? А Мишке? Почему ты не подумал о своей единственной дочке?

— Я подумал, я люблю их, они для меня — все, я совершил ошибку! Имею я право на ошибку, ваша светлость?

— Не имеешь, Володя, не имеешь! Люди, у которых есть дети, не имеют права на ошибку, черт возьми! И о чем ты только думал?

— Я не думал, Ваша честь, — папа чуть не плачет. — В тот момент я не думал. Это был... призыв... позыв... Э-э-э-э, зов сердца... Я действовал по велению сердца!

— А-а-а-а, по велению сердца, значит! Как собака?! Но ты же не собака, Володя, ты — человек. А человеку надо руководствоваться разумом! Для этого есть запреты! Для этого есть Бог, наконец!

— Но я не верю в Бога, я атеист, я протестую!

— Отставить! Если бы ты верил в Бога, ты не изменил бы своей жене!

— Это — свободная страна, у нас демократия! Протестую, протестую! — вопит папа, которого сразу выводят из себя разговоры о Боге.

— Вот и получай свою свободу, господин Аронсон, несносный профессор Аронсон! Итак, ты приговорен к вечности в одиночестве!

— К вечности?! — ужасается папа. — Нет, о нет, этот приговор не справедлив! Я требую апелляции!

По папиному лицу текут слезы. Он ругается, проклинает Бога и его несправедливый мир, сквернословит и плачет. Мне должно быть его жалко, но я холодна и непроступна:

— Уберите его! — И тем же ледяным голосом говорю: — Вызывается обвиняемая Лили Аронсон, в девичестве Кац.

Растерянная мама, заспанная, в ночной рубашке, с растрепанными волосами, занимает свое место.

— А в чем меня обвиняют? — спрашивает она.

— А вы не догадываетесь, госпожа Аронсон? — язвлю я. — Твой муж тебе изменяет, а ты и думать не думала, и не подозревала — это нормально?

— То есть... это моя вина? — шепчет мама, и на секунду жалость пронзает мое застывшее сердце, но я непреклонна и продолжаю:

— Конечно, госпожа Аронсон, а как по-твоему? Что, всем женщинам изменяют? Посмотри на себя — как ты выглядишь? Ты же не вылезает из ночных рубашек и халатов, у тебя волосы нечесаны уже третий день!

— Я... — мямлит мама, — Я ведь в основном дома, и Зээву это никогда не мешало...

— Откуда ты знаешь? Может, он просто не говорил? Но ты ему примелькалась, вот он и клюнул на эту Марину в ее пошлых кофтах с леопардовой раскраской и чулках в сеточку?!

— Я...

— Вот опять ты мямлишь! Так ты и с ним! Во всем соглашаешься, потакаешь ему, даже не смеешь сказать, что ты веришь в Бога, потому что ему это неприятно! Ты ему просто наскучила с этой своей покорностью, надоела! И даже сейчас ты ничего не скажешь, не будешь кричать и бить посуду, как любая другая нормальная женщина на твоём месте, ты просто замкнешься в себе и будешь валяться в постели, как ты делаешь после ваших ссор, точнее, не ссор, потому что ссорится только папа, а ты тихо плачешь в подушку и закрываешься у себя в комнате, но, может, лучше, чтобы ты кричала и топала ногами, мама, чем вот так наказывать, потому что это — мучительно, и мучительно гадать, о чем ты думаешь и когда придешь в себя, и если это так мучительно для меня, то представляю, как это мучительно для папы...

— Я... я...

— Не надо! Скажи что-то человеческое, чтобы я знала, что ты живая, а не картинка из книжки, может, папа просто захотел кого-то живого, эту очень живую Марину — в ее полном теле жизни через край, она и накричит, если что, или поцарапает этими своими длинными красными когтями, а ты, мама, ты даже не можешь ничего сказать в свое оправдание, ты так же предала меня, как папа, даже хуже...

Тут я просыпаюсь, так и не успев ни к чему приговорить маму. На щеках у меня слезы. Надо мной встревоженное лицо Бэнци.

— Ты в порядке? Тебе снился кошмар?

— Да. Нет. Я спала?

— Да, да. Минут двадцать. Я боялся тебя будить, но ты стала кричать, и...

Я сажусь. Жара спала. Уже почти темно. Зажглись фонари. Они освещают золотистые глаза моего пса, который в темноте, положив голову на передние лапы, похож на благородного сфинкса.

— Ненавижу плакать, я такая некрасивая, когда плачу.

— Неправда. Ты красивая. Особенно глаза. И волосы.

— Такое говорят только некрасивым женщинам — про глаза и волосы.

— Что за бред?

— Это не я придумала, это одна женщина так говорит, в книге, которую мне папа давал почитать, не совсем книге — это пьеса, такого Чехова — знаешь?

— Нет. Кто это — Чехов?

— Русский писатель. У него все долго страдают и, похоже, наслаждаются этим.

— Мишель... я не хочу про Чехова, я пытаюсь...

— Не надо.

— Но почему?

И уже про себя, тихо, умоляю: не надо, Бэнци, не надо, пожалуйста, не надо, только не сейчас, особенно не сейчас, но он меня не слышит, и даже если бы я говорила это вслух, все равно не слышал бы...

- Давай дружить, Мишель.
- Мы и так дружим.
- Ты знаешь, о чем я. Давай дружить, как мальчик и девочка.
- Зачем?
- Я тебе больше не нравлюсь?
- Нравишься. Просто зачем? Ведь сейчас все хорошо.
- Что значит — зачем? Скажи тогда прямо, что я тебе не нравлюсь!
- Нравишься. Но...

Бэнци не понимает, он обижается. А как мне объяснить ему весь сегодняшний день и то, что я стала другой, совсем другой?

— Мне никто из девочек не нравился, никогда, потому что все фальшивые, а ты не врешь, поэтому ты мне нравишься, очень, хотя ты странная...

Все именно как я хотела, он даже теми же словами говорит — почти. И при этом все не то, не то!

- ...Я говорил с Рони... Она сказала, что ты согласишься, что ты давно меня любишь.
- А ты не знал?
- Я и сейчас не знаю. Я не понимаю тебя.
- Ты же сам говоришь, что я странная.
- Ты любишь меня или нет?
- Это неважно.
- Я имею право знать.
- Я... да. Ответ — да. Но...

Тут Бэнци должен был меня поцеловать, таким длинным поцелуем, как в кино. Но он, кажется, не знает, как это делается, он просто смотрит на меня своими большими черными глазами, и его губы бледнеют, и это сразу видно, оттого что у него такая темная кожа. А я сбивчиво, путано говорю, и чувствую, что мое лицо горит (слава Богу, уже совсем темно, и не видно):

— Понимаешь, Бэнци, в моей жизни что-то случилось, я не могу рассказать что — это тайна, и она не моя, но я ее узнала, и я просто... Я теперь думаю по-другому. Я... не хочу больше никакой любви в своей жизни, не верю в любовь — она какая-то дурацкая, и от нее глупеют и становятся не собой, а я всегда хочу быть собой, для меня это важно, Бэнци, тем более, что настолько доверять другому человеку невозможно, люди разные, и в любой момент любовь у кого-то закончится, а у тебя останется, или наоборот, но, короче, кто-то будет несчастным, и зачем, зачем? Особенно когда есть дружба, и это гораздо круче, Бэнци, это гораздо лучше, чем любая любовь, поверь мне, ты просто это не понимаешь, но поймешь, поэтому я... я не отказываюсь, я хочу с тобой дружить, но не как «девочка с мальчиком», а просто как Мишель с Бэнци, я хочу именно дружить, потому что это — безопасно и надежно, и это, вероятно, навсегда.

— Ты врешь, Мишель. Такое говорят, когда человек тебе на самом деле не нравится и ты его утешаешь...

— Нет, Бэнци, такое говорят, когда сам себе не нравишься!

— Я не понимаю.

— Я сама не понимаю. Я не всегда себя понимаю. Как в моем сердце столько чувств сразу? Иногда мне кажется, что я в себе не уместаюсь, что я больше чем мое тело и что одной жизни мне мало, что в одной жизни никогда себя не выразить.

Я плачу, злюсь и плачу, потому что Бэнци глупо обиделся и мне не верит, и меня не понимает, и никто меня не понимает, и удивительно ли, раз я не понимаю сама себя?

Подъезжает белая тойота — это папа Бэнци. Вытираю слезы тыльной стороной ладони, кричу:

— Привет, Шломо!

— Привет, Мишель, — отвечает папа Бэнци. — Давай сначала тебя завезем, это ближе.

И тут его взгляд падает на пса:

— Это что — твой, он тоже с нами?

— Да, пап, это ее пес, — быстро говорит Бэнци. — Я потом уберу всю шерсть с заднего сиденья, обещаю.

И хотя он не смотрит на меня и демонстративно садится впереди, я знаю, что Бэнци простил, что он понял.

Дверь не заперта, и я тихо проскальзываю домой — проверить обстановку и понять, как сильно меня будут ругать. В зале и на кухне пахнет валокордином — мама постоянно покупает эту вонючую штуку в русских лавочках вместо того, чтобы пить валерьянку в таблетках, как все нормальные люди. Папа на диване читает газету, мама возится на кухне, но сразу выходит, как только слышит, что закрылась входная дверь, — у нее очень чуткий слух. Мама вытирает руки о передник, папа поднимает глаза, и оба смотрят на меня — не бросаются, плача, обнимать, не ругают, хотя у мамы на лице следы слез, а папа нервно копошится в своих волосах. Они выглядят как люди, пережившие бурю или наводнение, но выжившие и зализывающие раны. Я тоже не знаю, что сказать. Тогда папа откашливается и говорит:

— В следующий раз, пожалуйста, оставь записку, если не хочешь нас преждевременно похоронить.

Голос у папы хриплый, но понятно, что он овладел собой. Мама добавляет:

— Хорошо, что нам позвонил папа Бэнци — мы уже хотели обратиться в полицию. Я всем твоим подружкам позвонила, но про Бэнци не подумала...

— Мы совсем недавно дружим, — это первое, что я говорю. А потом добавляю: — Простите. Я не хотела... простите.

И хотя это я прошу прощения, но в этот момент понимаю, что и я их простила. Они не показывают своего волнения, но я чувствую, что они пережили за сегодняшний день. И я вдруг вижу, какие они хрупкие, беззащитные, как зависит от меня их мир, их жизнь, и как же я могу после этого не простить их? И опять начинаю плакать — на этот раз от радости, как Йосеф, когда тот простил своих братьев. И тут мама не выдерживает, обнимает меня, а папа говорит:

— Она просто устала. Ничего, Мишенька, сейчас поспишь, и все пройдет.

И тут он замечает собаку, и я быстро успеваю сказать, опередив его:

— Я его нашла, он брошенный, он добрый, он защищал меня и полдня с нами пробегал. Давайте покормим его, у нас есть ветчина? Я назову его Карамазов, ладно?

Последнее я говорю, чтобы подлизаться к папе — хотя я страшно устала, «Карамазов» сразу приходит мне в голову. А фразу: «Можно его оставить?» — вообще вслух не произношу, подразумевая, что это — вопрос решенный, и готовлюсь отбивать атаку: папины аргументы и логические доводы о том, почему мы не можем держать большую собаку в городской квартире, и так далее... Но папа ничего не говорит, только кивает, и у него слегка дергается левый глаз — очередной нервный тик. Очевидно, приобретение большого пса — пустяковая цена за возвращение дочки, которую они уже считали пропавшей, а может, и (кто знает?) погибшей. Мама бормочет:

— Надо будет его свозить к ветеринару. И купить ошейник от блох.

Но насчет мамы я и не волновалась — она тоже хотела собаку.

Пес накормлен, напоен, а я такая уставшая, что не хочу есть, хочу только в душ и спать. В майке и трусах ложусь под одеяло, тушу ночник и засыпаю под тихий разговор родителей, который доносится из зала, а Карамазов лежит на коврик у моей кровати, и в темноте мерцают его золотистые, как густой мед, глаза, он смотрит на меня с такой любовью, что теперь и кошмары не страшны, и перед тем, как окунуться в глубокий сон, я думаю: весь сердце, весь сердце, весь сердце...

2. *Восьмая свеча*

Удивительно, до чего взрослые умеют испортить праздник. Год назад, в Судный День — мой любимый день в году — я случайно подслушала папин телефонный разговор и поняла, что он изменяет маме с жирной, сисястой Мариной, которая не умеет красить губы. А теперь Ханука, которую я всегда любила из-за света, и из-за того, что я в Хануку родилась, безнадежно испорчена. Это первый праздник без папы и с привидением вместо мамы. Сразу поясню, что никто не умер — ни папа, ни мама, но по сути в каком-то смысле умерли оба. Но это надо объяснять — желательно, по порядку. Постараюсь.

Значит, так. Про Марину я тогда решила маме не рассказывать. И папе не подала виду, что знаю. Думала: рассосется. И сама постаралась забыть. Даже почти забыла: домой она больше не звонила, после того как папа в тот раз на нее нарычал, и я заметила, что папа стал реже задерживаться на ночь в Иерусалиме у «друга Хаима», а приезжал к нам домой в Рамат-Илан, хотя, как и прежде, жаловался на длинную дорогу. И жизнь снова стала обычной. Иногда (конечно же, в самый неподходящий момент) я вдруг вспоминала Маринин хриплый, прокуренный голос и то, как она назвала папу «Володенька», и чувствовала короткий, острый укол и гадкий вкус медузы во рту (никогда не пробовала, но представляю, что это очень гадко — такая бесформенная жижа, которая залепляет рот и горло). Но потом все проходило, и я жила дальше, как будто ничего этого не было. Оказалось, зря.

В начале лета папа снова начал задерживаться в Иерусалиме. Я встревожилась. И страшно разозлилась на маму, которая никак не реагировала. Скорее наоборот: мама сделалась еще более апатичной и вялой, почти перестала переодеваться из пижамы в нормальную одежду — разве что когда ходила за покупками. «Эта шлюха опять его окрутила!» — подумала я словами героини аргентинского телесериала, и стала разрабатывать план: узнать телефон Марины и выяснить отношения. Раз у меня такая мама, которая не может за себя постоять, придется мне спасти семью. Раздобыть телефон Марины оказалось несложно: достаточно позвонить в Иерусалимский университет, где они с папой работают, и притвориться абитуриенткой кафедры биологии. Но я хотела сначала тщательно проработать текст монолога, который выплесну на Марину, и только потом звонить. К счастью, не успела, потому что в середине июля папа сообщил маме, что у него роман с его студенткой Гили и что они собираются вместе снять квартиру в Иерусалиме. Не знаю, когда папа собирался рассказать об этом мне, но так получилось, что узнала я сразу, потому что как только мама услышала про Гили, у нее с новой силой вспыхнула депрессия...

Говорю «с новой силой», но я понятия не имела про депрессию и про присутствие этой депрессии в маминой душе. Так получилось, что я все узнала одновременно — и про Гили, и про маму. Папа, само собой, этого не хотел, хотя «мог предвидеть» — так сказала Майка, папина младшая сестра. Папа ее сразу вызвал, когда мама вырубилась, как будто ее выключили, и перестала на что-либо реагировать. Папа не смог добиться от нее какой-либо реакции — мама ушла глубоко в себя и перестала говорить, только смотрела перед собой в одну точку. Тут папа испугался. Побоялся оставить меня с ней, такой, а ему на следующее утро надо было на работу. (Хотя папа — профессор и специалист по Достоевскому, но в некоторых вещах он очень плохо соображает, не умеет продумывать наперед.) Звонить маминым стареньким родителям папа малодушно не захотел и вызвал Майку, которая живет неподалеку, — она как раз учится в Бар-Иланском университете (в каком-то смысле — это ее третье образование, если учесть два других, которые она не завершила). Майка собиралась на вечернюю работу в баре, но все отменила и приехала, хотя и ворчала, и при мне назвала брата «несчастливым кретином» (такая у нас Майка, не скупится на слова). Папа даже не

среагировал, до того был обескуражен. А Майка сказала: «Это ужасно, но надо рассказать Мишель всю вправду, она имеет право знать, что происходит. Только ты, Зээв, выйди, не мешай». И папа удалился в свой кабинет.

А Майка рассказала, что, оказывается, мы переехали в Рамат-Илан не из-за маминого давления, а из-за маминой депрессии. Врачи посоветовали сменить обстановку. Началась депрессия после родов — такое бывает у женщин. Только обычно потом проходит, а у мамы не прошло. «Я твоему папе тысячу раз говорила, что Лили надо чем-то заниматься, помимо тебя и дома, но он не слушал, — вздохнула Майка. — Эгоист. Причем, недалекий. Лили периодически пыталась слезть с антидепрессантов, говорила, что они глушат, делают из нее растение, но тогда ей становилось хуже, и Зээв уговаривал ее вернуться к таблеткам...»

Я слушала Майку и понимала, что на самом деле все это давно знала, просто не допускала до себя это знание. Ну конечно же, мне с раннего детства было ясно, что моя красивая, задумчивая мама — не такая, как остальные. Я привыкла к тому, что она часто печальная и молчаливая, хотя шутила она всегда удачней, чем папа, и очень радовалась в те редкие моменты, когда мама бывала игривой и смешливой. Принимала как должное то, что она может часами валяться в постели (как правило, с книжкой, но не обязательно), что она может спать по полдня (при этом она всегда готовила еду и стирала, а уборкой занималась помощница, которая приходила раз в две недели). Но иногда мама вдруг вскакивала с постели, красиво одевалась, душилась, рассказывала забавные истории и сказки, которые сама сочиняла (ее детские книжки рождались именно из рассказанных мне историй), интересовалась папиной работой, приглашала гостей, ставила диски с любимыми песнями и кружилась по залу, придумывала веселые поездки, пикники на природе... Майка сказала, это называется «ремиссия». А мне плевать на то, как это называется, — ведь после ремиссии всегда бывает откат. Ремиссия может длиться долго — месяц, два, три, уже начинаешь, затаив дыхание, надеяться, что то, другое, больше не вернется, а потом все-таки случается откат — и тогда особенно обидно. Но и к этому привыкаешь.

«Понимаешь, — сказала Майка. — Ребенку иногда легче привыкнуть, чем взрослому, ребенок принимает родителей такими, какие они есть, это просто данность, и все. А Зээву было очень тяжело, всегда. Его бесили Лилины провалы в депрессию, он начинал реже бывать дома, ей от этого становилось еще хуже — такой заколдованный круг. А теперь... а теперь он нашел Гили. (Я решила не говорить, что на пути к Гили он нашел еще и Марину — хотя было интересно, знала ли Майка...) Но ты на папу тоже не сердись, Мишка. Он не виноват. Не хватает ему душевной теплоты. Не по зубам ему вся эта ситуация...» Тут папа в бешенстве выбежал из кабинета. Очевидно, он все слышал. У Майки такой громкий голос — как иерихонская труба. Даже подслушивать необязательно. Но Майку это не впечатлило. Она чуть дернула плечом и сказала: «Кроме меня, тебе никто не расскажет правду, детка». И тут мимо нас, как лунатик, прошла голая мама — в одних трусах. Она и раньше не особо стеснялась своей наготы, по крайней мере, при членах семьи (в широком смысле), ну а сейчас ей тем более было до лампочки. Она вошла в туалет, раздался звук спускаемой воды, и через минуту мама промелькнула опять, с тем же невидящим взглядом и замкнутым, словно закрытым на сто замков, непроницаемым лицом. «Лили, — хрипло окликнул ее папа, — попей, Лили, ты весь вечер не пила, в хамсин так нельзя». Но мама не обратила на него никакого внимания. Папа в ярости ударил кулаком по столу, сбив в кровь костяшки на пальцах, и тут же обрушился на Майку: «У нас нельзя курить, не смей здесь курить!» Майка затаилась, выдохнула и с коротким смешком сказала: «Знаешь, Зээв, на данный момент, это — самая маленькая из твоих проблем». А я совсем некстати подумала, что у мамы все еще красивая грудь, не обвисшая — интересно, кормила она меня или нет? Я вдруг поняла, что не знаю.

В тот вечер мне было совсем не до Гили, я была слишком занята мамой — как

и все остальные. Поэтому ничего, кроме того, что Гили — папина студентка, я про нее не узнала. А позже уже и не хотела ничего знать. Я и так с папой разговаривала сквозь зубы, а тему Гили просто бойкотировала. Могла даже трубку повесить. Тем не менее, пару вещей папе удалось до меня донести: Гили было двадцать четыре года. Она изучала не русскую литературу, а социологию, и папин курс взяла в качестве «свободного выбора» — ей показалось, что Достоевский поможет понять психологию трудных подростков. Это папин самый простой, примитивный курс по Достоевскому, не для специалистов, и все книги читаются в переводах. Поэтому Гили и смогла на него записаться, по-русски она знала всего несколько слов — стандартный израильский набор: спасибо, иди сюда, молодец и парочку неприличных.

А еще я видела фотографию Гили — прямые каштановые волосы, карие глаза, открытый, прямой взгляд, загар, чуть вздернутый нос. Немного неряшливая, свободная одежда, так что какая фигура — непонятно. Типичная израильянка. Ничего особенного. Простота, почти переходящая в грубость, абсолютная естественность, открытость и простодушная, но несколько напористая веселость. Короче, все то, чем мама никогда не обладала. (А какой буду я? Как мама или как Гили? Я — ни то, ни другое, а что-то среднее, что-то между, ни то, ни се, ни к селу, ни к городу...) Ничего особенного, но и ничего отталкивающего. Скорее, даже симпатичная девушка. Поэтому я так резко оттолкнула папину руку и не желала разглядывать Гилину фотку — вдруг она мне понравится? А этого я допустить не могу, это будет предательством по отношению к маме.

Конечно, с тех пор мама немного пришла в себя. Баба Роза чуть ли не силой поволокла ее к врачу (звучит смешно, потому что баба Роза — маленькая и сухонькая, но когда надо — силищи у нее ого-го). Врач выписал маме другие таблетки, и она опять стала есть, пить, реагировать на окружающих, даже разговаривать. Но у нее все еще нет ни на что сил. Она проводит в постели дни и ночи, даже еду берет в постель, выходит только в туалет и в душ — это очень для нее важно, чтобы от нее всегда хорошо пахло. А вот причесываться ей лень — она совсем запустила свои роскошные густые золотистые волосы и под кое-как причесанным верхним слоем сваялся колтун, который уже не расчешешь. Я предложила маме завести дреды и стать хиппи — я все время пытаюсь ее рассмешить, наверно, чтоб самой не свихнуться. Но баба Роза повела маму к парикмахеру, и тот коротко ее остриг — сделал каре. Поскольку волосы у мамы вьются, все равно они не лежат, как должны. Но эта озорная прическа очень расходится с выражением лица. Мама и так белая, а теперь стала совсем бледная — она почти не выходит на улицу, говорит, что ее пугают уличные звуки, особенно гудки машин и визг тормозов. Мама все больше похожа на привидение — красивое, равнодушное привидение.

Продукты покупает деда Сёма, хотя он сам старенький и ему тяжело. Я стараюсь ему помогать — после школы, но иногда он ходит в магазин по утрам. А готовит баба Роза — она почти весь день у нас проводит, чтобы меня дома ждал обед и чтобы мне не было так одиноко. А маме, кажется, все равно, одна она дома или нет. Стирает, а потом развешивает белье тоже баба Роза, правда, я хочу это взять на себя, ведь мне не сложно нагибаться и разгибаться. Мама — поздний ребенок, когда она родилась, бабе Розе было почти сорок, а деде Сёме — аж за сорок, и теперь они старенькие. Но без них, не знаю, что бы я делала. С утра слышу, как поворачивается в замке ключ, а затем — шарканье шагов дедушки. И знакомое покашливание, пока он разувается в прихожей. Деда Сёма любит рано вставать. По пути к нам он заходит в пекарню, чтобы на завтрак я поела свежие булочки. А еще приносит пакет холодного какао — иногда выпиваю его сразу, а иногда беру с собой в школу, хотя боюсь, что он может лопнуть в рюкзаке. Пока я ем, дедушка наливает себе кофе и принимается читать свежую газету, время от времени восклицая: «Разбойники!» — «Паразиты!» — «До чего довели

страну!» От этого сразу становится уютно и не так противно выползть на улицу, к своей школьной развозке, даже в дождь.

А когда я прихожу домой, там уже бабушка — возится на кухне, у нее всегда одновременно что-то в духовке, что-то — на плите, и при этом она еще режет овощи на старой деревянной доске и слушает радио (русское радио «Рэка», я уже знаю все программы, которые там крутят, и ведущих знаю по именам). Вообще, в последнее время мой русский сильно улучшился. Хотя дедушка с бабушкой здесь, в Израиле, работали и прилично говорят на иврите, со мной они предпочитают говорить по-русски. Еще мне очень нравится переводить на иврит русские пословицы и поговорки. Если переводить буквально — звучит как полная абракадабра. Например: «У тебя пятница из-под субботы торчит» — эту фразу бабушка всегда мне говорит, когда у меня майка высовывается из под свитера. А на иврите какой-то нонсенс получается. Дико смешно. Но при этом — торжественно. Я это недавно Бэнци сказала — своему другу — и мы полчаса дико хохотали. Потом я объяснила, что это значит, и мы смеялись еще полчаса. Или вот — «да нет», тоже бабушкино любимое: «Да нет, Сёма, что за глупости!» Или: «Да нет, Мишка, ничего подобного я не говорила!» А попробуй переведи на иврит это «да нет». *Кен ло*. Как будто, ты — ненормальный, сам не знаешь, что хочешь. Но я и Бэнци, и Рони — свою лучшую подружку — этому научила, внедрила это *кен ло* в наш лексикон. И теперь, когда мы хотим сказать особое нет, то есть, хотим это «нет» усилить, мы так и говорим: «Кен ло!» — с ударением на «ло», и окружающие смотрят на нас с недоумением. Это наша общая шутка втроем с Рони и Бэнци, хотя вообще они не очень ладят. Но это уже другая тема.

Как правило, на ужин приходит и дедушка. Я отношу маме еду в постель — на подносе, а потом мы с дедушкой и бабушкой садимся ужинать. И если очень постараться, можно даже представить, что мы — нормальная семья. То есть если забыть, что мама — в спальне, а папа в Иерусалиме с Гили. Конечно, что-то нормальное в нас есть. И в последние месяцы я научилась это любить и ценить как никогда. Раньше просто не обращала внимания. Потому что речь о мелочах, о таких мелочах, которые, пока все хорошо или хотя бы более-менее, просто не замечаешь. В семьях, в которых все хорошо, вся жизнь и состоит из таких вот мелочей: а что на обед? — выключи газ — мне кто-то звонил? — Мишель малы кроссовки, надо новые купить — опять огромный счет за электричество — так ведь была холодная зима — Боже, снова досрочные выборы, когда ж они уgomонятся? — холодно, надень свитер... А когда семьи больше нет, все эти вещи, которые составляли видимость уютного, удобного мира, уже не имеют значения, и люди или обсуждают несчастья и беды, свалившиеся на них, или молчат. В основном молчат, потому что обсуждать несчастья и беды рано или поздно надоедает. И вот именно тогда очень важно вернуться к мелочам. Ради состояния устойчивости, чтобы зацепиться за что-то, доказать себе, что ты все еще связан с этим миром, что ты все еще выполняешь определенные ритуалы и поэтому существуешь.

И вот мы сидим за столом, бабушка говорит: «Подуй на суп, деточка, он горячий», а дедушка уже громко хлюпает этим же супом и, поворачиваясь к бабушке, спрашивает: «Ты слышала, что говорил этот мерзавец?» «Какой мерзавец, Сёма? У тебя все мерзавцы!» — отвечает бабушка и подкладывает мне еще хлеба — ей кажется, что я слишком худая. «Да какой! Коммунист, конечно!» — возмущается дедушка. «Ай, Сёма, у тебя все коммунисты!» — бабушка вытирает руки о фартук. «Они и есть все коммунисты! — дедушка от волнения проливает суп себе на бороду. — Все эти леваки — все коммунисты! Неужели я ради этого почти на старости лет боролся за отъезд в Израиль, чтобы здесь мне предлагали голосовать за несчастную рабочую партию?! Рабочую партию, Роза!» «Так не голосуй, Сёма, успокойся, — отмахивается бабушка. — Главное, кушай аккуратно — у нас на второе карп, в нем очень много костей. Кстати, знаешь, кого я встретила в очереди за рыбой?..» И я смотрю на них,

на бабушку с бабушкой, и думаю о том, как я их люблю, и о том, что они старые и, может, скоро умрут, и тогда я останусь совсем одна в этом мире, и быстро отгоняю эту мысль, чтобы не заплакать.

А с мамой все непонятно. Я бы хотела как-нибудь днем невидимкой проникнуть в квартиру, чтобы понять, чем она занимается. Не может ведь человек целый день вообще ничем не заниматься. Раньше ей звонили подружки, но она очень быстро заканчивала разговоры с ними, и постепенно они перестали звонить. А когда я спросила ее об этом, она ответила, что, оказывается, они не подружки, а просто знакомые, и сейчас это стало особенно очевидно, а тратить время на чужих людей ей не хочется. Хотя чего-чего, а времени у мамы навалом. Она ведь перестала писать свои забавные и немного грустные детские книжки. С тех пор, как папа ушел, она не написала ни строчки. Иногда она просит принести ей ту или другую книжку, но чтение быстро утомляет ее. На маминем туалетном столике лежит целая гора книжек — начала читать и бросила. Дело в том, что это — папины книжки. Те, которые он не забрал. А он забрал большую часть, и на наших книжных полках — зияющие дыры, на которые больно смотреть. (Может, поэтому мама так не любит выходить в зал? Про папин бывший кабинет я уже не говорю — это теперь пустая комната, без ковра и без мебели, и туда не входит никто.) Как-то раз я притащила маме книжку из школьной библиотеки — английский детектив, просто, чтобы она развлеклась, но мама ее даже не открыла. Сказала, что не любит детективы, скучно это все. Мне хотелось крикнуть, что ей вообще все скучно, и жить скучно, и ничего ее не волнует и не интересует, даже я, — но сдержалась.

Сперва я злилась на маму — получается, она меня тоже оставила, как и папа. Хотя Майка и предупредила, что мама не может с собой справиться и что не надо на нее злиться, я все равно злилась. Потому что иногда все-таки мама делала над собой усилие и спрашивала меня о чем-то или гладила по волосам. Я видела, что ей очень непросто — присутствовать в этом мире, но ведь она должна понимать, как это для меня важно. Она могла бы стараться больше, чаще. Но она этого не делала. А потом я привыкла и перестала злиться, даже, наоборот, боялась этих моментов маминого интереса — коротких и нечастых, боялась начать опять верить в то, что мама снова станет прежней. Даже привыкла к мысли, что это — не мама, а всего лишь ее оболочка. И где мама, в каком мире она обитает, никто не знает. А еще где-то в глубине подсознания маячит чувство вины, что это все из-за меня — ведь именно после родов у мамы появилась депрессия, возможно, ей нельзя было заводить детей... Это — самое гадкое — такое эгоистическое самобичевание, потому что по правде я, конечно же, жалею прежде всего себя, а не маму. Лучше вообще об этом всем не думать. Я и стараюсь не думать.

Про папу тоже думать не хочется. Он, конечно, платит огромные алименты — размером со свое чувство вины. (Его как раз назначили зав. кафедрой и прибавили к зарплате.) Он мне как-то сказал — в самом начале, когда только уехал: «Мишенька, я не хочу, чтобы в твоей жизни что-либо менялось». Ничего умнее он сказать не мог, этот профессор! Как будто в моей жизни не поменялось абсолютно все. Нет, конечно, приятно, что к нам все еще приходит уборщица и что я могу позволить себе покупать свое любимое шоколадное мороженое. (Правда, его часто съедает мама, до того как я успеваю попробовать, но мне не жалко — кажется, у нее нет других радостей в жизни.) Хоть что-то осталось прежним. Незначительные, но по-своему нужные вещи. Но папу я все равно не прощаю и видеть его не хочу. Он и не особо рвется приезжать — у него единственный выходной в шаббат, и этот день он проводит с Гили. То есть, справедливости ради, у него были попытки приехать со мной повидаться, но я каждый раз придумывала отговорку — то у кого-то из класса день рождения, то я заболела. И папа не настаивал. Права была Майка — слабак. Правда, он продолжает регулярно звонить — два раза в неделю. В понедельник и четверг. Ну, это как раз в папином духе — он, наверно, себе

в ежедневник записал. А может, ему секретарша напоминает. По телефону я его тоже не жалуя. Отвечаю односложно и сворачиваю разговор. (А попытки позвать меня к себе в гости в Иерусалим он давно забросил — у меня на это реакция одна: длинные гудки...)

Вот пример наших разговоров:

— Привет, Мишенька!

— Привет.

— Как у тебя дела?

— Нормально.

— Что нового?

— Ничего особенного.

— Как в школе?

— Нормально.

— Вы уже начали учить химию?

— Ага.

— И как тебе?

— Нормально.

— Ну расскажи, что за это время произошло? Что слышно?

— Ничего.

— Не может быть!

— Мы разговаривали три дня назад.

— Но что-то ведь за это время произошло?

— У Карамазова — глисты. (Карамазов — это моя собака, рыжий золотистый ретривер, названный в честь персонажа папиной любимой книги. Когда папа ушел, я даже хотела поменять псу имя — назло папе, но потом передумала: он уже откликнулся на Карамазова — пес, а не папа, конечно же.)

— Да что ты! Вы были у ветеринара?

— А ты как думаешь?

— Конечно были. С Бабой Розой? (Он все надеется услышать, что «с мамой», что мама стала выходить из дома. Зря надеется.)

— Да.

— И что вам сказали?

— Что у него глисты. (Бедный папа — он так теряется от моей враждебности, что сильно глупеет, но что поделаешь — никто не обещал, что будет легко.)

— Ему выписали лекарство?

— Да.

— Бедный песик! (Все, приплыли. Папа вообще не любит животных, он на Карамазова чудом согласился. Это у него последний патрон про «песика»).

Я молчу. Что он от меня хочет, этот чужой человек? Мне нечего ему сказать.

— А что ты сейчас читаешь?

— Ничего.

— Ничего? (В папином голосе плохо скрытое разочарование, можно подумать, что на чтении свет клином сошелся.) Ммм... да. Бывают такие периоды. Я тут купил несколько книжек в последнее время. В том числе, Ницше. Думаю, тебе понравится. Ты созрела. Как раз для юных бунтарей, ха-ха. Хочешь, pošлю тебе Ницше посылкой?

— Ладно.

— А может... А может ты все-таки как-нибудь к нам приедешь?..

Так. Разговор окончен: с чувством облегчения вешаю трубку. Если бы он сказал «ко мне», я бы еще подумала, но вот это «к нам» — он прекрасно знал, что за этим последует. Просто проверяет меня, мою реакцию. Ну и хорошо. Теперь будет знать, что ничего не изменилось. Перезванивать папа не будет. Позвонит в четверг — как ни

в чем не бывало. Мне от этого ни жарко, ни холодно... В общем, в каком-то смысле у меня нет больше ни мамы, ни папы.

В этом году — впервые — я не ждала свой день рождения. Всегда ждала — каждый год: и день рождения, и Хануку. Ждала весь ноябрь, считала дни. Мой день рождения — первого декабря, с него начинается мой любимый месяц, а потом плавно перетекает в Хануку. Иногда надо подождать пару недель — все зависит от конкретного года, от того, где пересекается солнечный календарь с лунным. А иногда Ханука прям в самом начале декабря, и тогда — сплошной праздник. Обожаю Хануку. Единственный религиозный праздник без запретов и ограничений. Можно работать, ездить, готовить, включать свет... (Конечно, моей семье это по-любому не касается, даже теперь, когда ушел папа-атеист, но важен сам принцип.) Зато в Хануку едят драники, пончики — все, что делается на масле, — в честь того кувшинчика с маслом, которого хватило на восемь дней, хотя, казалось, не хватит даже на один. Вот за это тоже люблю Хануку — за чудо. И за свет, за прибывающий свет — с каждым днем все больше и больше свечей, каждый день прибавляешь по одной свечке. И выковыриваешь клубничное варенье из пончиков. Клубничное варенье и свет, подсвечники, горящие по вечерам во всех окнах. А еще сами свечки, конечно. Тонкие, разноцветные ханукальные свечки...

В моем раннем детстве были более стандартные наборы: белые, синие, красные, желтые и оранжевые. А теперь появились фиолетовые, и розовые, и зеленые. Можно всегда купить лишнюю упаковку и рисовать свечами на тонкой белой бумаге. Я в этом специалист. Зажигаешь ту свечку, которой хочешь «порисовать», наклоняешь ее в нужное место, и с нее капает парафин и почти сразу застывает аккуратным кружочком. Так можно весь лист заполнить разноцветными кружочками парафина, и поскольку они тоже полупрозрачные, если приклеить на стекло, сквозь «рисунок» будет проходить свет — очень красиво. (На толстой черной бумаге еще эффектней, но я предпочитаю на белой.) Больше всего нравится сам процесс. И запах горячего парафина. Как-то раз — мне было лет девять или десять — я слишком близко поднесла свечку к бумаге, и она загорелась, и очень быстро пламя перекинулось на рисовальный альбом и тетрадку по арифметике. Я, не думая, схватила вазу (в ней как раз стояли подвешивающие гвоздики, которые папа подарил маме на мой день рождения), и вылила из нее воду на письменный стол. Огонь зашипел и погас, в комнате запахло гарью, а я на секунду представила, что было бы, если бы я ничего не сделала, а просто смотрела бы, как огонь поглощает мой письменный стол, мебель, шторы. (Я всегда любила такие вещи представлять — всякие «если бы», и в этих «если бы» я разрешала себе быть плохой девочкой и очень плохой девочкой.) В общем, в тот раз я чуть не спалила дом. Может, было бы лучше, если бы спалила... Может, это встряхнуло бы маму, которая выносила бы меня на руках из горящего дома, и она сразу перестала бы быть грустной (при мысли о том, что могла меня потерять, но что все закончилось хорошо), и папе не нужны были бы всякие Марины и Гили... Вот, я до сих пор это делаю — играю в «если бы». Это утешает, но не сильно.

Короче, я с детства знала: нужно только переждать ноябрь, и сразу будет хорошо. А в этом году было ясно, что ничего хорошего не будет. Поэтому я не только не ждала, а с ужасом думала про то, что мне предстоит. Понимала, что буду поневоле сравнивать с другими днями рождениями, с другими Хануками, и огорчаться еще больше. Мне хотелось, чтобы уже поскорее прошло все, чтобы я просто привыкла, что теперь всегда будет так — и уже ничего не ждала и не сравнивала. Если бы было возможно, я бы погрузилась в спячку, как животные — всякие там медведи и барсуки, чтобы все это время просто проспала и ничего не чувствовать, а потом проснуться весной — и, оказывается, мне уже тринадцать, и про маму с папой — привычно и не болит. Но так, к сожалению, невозможно. Может, когда-нибудь изобретут средство, чтобы погружать людей в спячку на зиму. Всех желающих. Оно будет очень популярным. И с точки

зрения экономики — логично. Конечно, часть населения не будет работать, но ведь есть и потреблять электричество они в это время тоже не будут...

К сожалению, я оказалась права — тринадцатилетие было самым грустным днем рождения. Во-первых, было страшно холодно — на улице еще ничего, а дома — просто ужас. Мы в относительно новом здании живем, и в отличие от камня, гипсокартон с холодом справляется очень плохо. В моей и маминной комнате стоят обогреватели, но вытащить ногу из-под одеяла — все равно, что окунуть ее в ледяную воду. Ну и дальше одеваться — тоже неприятно... А мама вообще не встала. Когда я к ней заглянула, она лежала под тремя одеялами и спала. Я решила, что мама и не помнит про мой день рождения, тем более, она вообще не всегда в курсе дат и чисел в последнее время, и не стала ее будить. Деда Сёма вместе с булочками и какао принес одинокую оранжевую розу, но это меня только огорчило — напомнило, что в этот день папа всегда дарил маме цветы.

От школы я ничего и не ждала. С начала года меня в классе не очень любят. Мальчики высмеивают оттого, что у меня почти нет груди, зовут «доской», а девочки под влиянием Ширы ехидничают над тем, что я замкнулась в себе — типа, что это я прибежняюсь, у половины класса родители в разводе, но никто не строит из себя жертву и сиротку, и вообще — мой траурный, угрюмый вид всем надоел, и никому меня не жалко. Про маму знают только Рони и Бэнци — теперь они мои единственные друзья. Но это им не мешает и с другими дружить, хотя от нападок меня защищают. Рони подарила мне синий воздушный шарик, но идиот Алон его тут же лопнул. А Бэнци припас шоколадный маффин, из которого половина шоколадной пасты выдавилась на пакет, но я все равно оценила жест... А Шира насмешливо спросила: «Вечеринка будет?» Я ее не удостоила ответом, и она процедила: «Ну и правильно, все равно никто не придет».

Баба Роза купила в кондитерской торт, украсила его свечами. Четырнадцать свечей, как и принято — одна на следующий год, впрок. Впервые у меня на день рождения торт из кондитерской. Обычно мама пекла... Мама к моему приходу хоть встала и оделась — даже сидела с нами за столом, пела «с днем рожденья тебя» и поцеловала меня, но вид у нее был умученный, и потом она сразу ушла к себе — наверно, с облегчением разделась (такое ощущение, что ей противно находиться в одежде). Бабушка и дедушка подарили мне теплую пушистую пижаму (очень кстати) и сто шекелей: «Ты уже большая, сама купи себе что хочешь». Эти подарки — они как бы и от мамы, и я тоже сделала вид, что играю в эту игру, хотя всем все понятно...

Потом позвонил папа — вне очереди, так как мой день рождения был во вторник, сказал, что перевел на счет бабы Розы пятьсот шекелей, чтобы я купила себе горный велосипед с рычагами скоростей (давно о таком мечтала). Я сухо поблагодарила. Папа спросил, как дела у Карамазова и у его глистов — молодец, нашел зацепку с предыдущего разговора. Я ответила, что у Карамазова — дела отлично, а у глистов — плохо. Тогда папа откашлялся (он всегда так делает, когда нервничает) и поинтересовался моими планами на Ханукальные каникулы. Я бросила: «Читать!» — чтобы папа отстал. «Все каникулы? Все восемь дней?» — «Да», — отрезала я. Папа трусливо ретировался: «Отличный план, Мишенька! С днем рождения тебя, родная!»

Я повесила трубку и услышала, как из своей комнаты меня зовет мама. «Хочешь забраться со мной под одеяло, и я тебе расскажу сказку, как в детстве?» — спросила мама. «Ну... не, мам, я ведь уже большая, ты лучше поспи», — пробормотала я и закрыла за собой дверь, успев увидеть мамин обиженный взгляд — кто знает, сколько душевных сил ей потребовалось на то, чтобы сделать мне это предложение. Я машинально разделась и включила обогреватель на полную мощность. Легла в постель, похлопала рукой по матрасу, и ко мне сразу запрыгнул Карамазов. Пока папа тут жил, кровати Карамазову были заказаны, но маме, конечно же, все равно, и с тех пор, как похолодало, Карамазов спит у меня в ногах и приятно нагревает постель.

Перед сном я почему-то вспомнила мой первый день рождения в школе — в шесть лет, в старом классе в Иерусалиме. Тогда тоже была очень холодная зима (причем, как всегда у нас в Израиле, холодней всего было не на улице, а в домах, и мама рассказала, что в России зимой на улицах снег, а в домах — наоборот — очень жарко, и по батареям в квартире течет и журчит горячая вода, и я пыталась себе это представить, но не смогла). Мама надела на меня три свитера и красные резиновые сапоги, которые были мне велики, и я шлепала по лужам. А еще мама испекла роскошный многослойный торт с кремом, и мы взяли его в школу, и купили много маленьких подарочков — для всех учеников (всякие там ластики с рисунками, наклейки, брелоки). После того как я задула свечки и все спели «с днем рожденья тебя», мама предложила научить всех детей русской деньрожденской песне и стала переводить на иврит «пусть бегут неуклюже». Из песни дети поняли только одну строчку: «вода по асфальту рекой» — за окном в Иерусалиме было точно так же: сплошные лужи вместо тротуара. Но при чем тут день рождения, никто не понял, и почему на гармошке играют — тоже, а когда мама смугилась и попыталась объяснить, что это крокодил поет, все расхохотались, и тогда учительница, молодая марокканка, спросила: «И эту песню все в России поют на день рождения?» — и мама кивнула, и все опять рассмеялись, и мы с мамой тоже. Это был лучший день рождения в моей жизни.

Спустя две недели, в середине декабря, началась Ханука. В этом году она не совпала с моим днем рождения, да я этого и не хотела — какая разница, раз все испорчено? К тому же, я папе, можно сказать, не соврала, у меня и правда не было никаких планов на каникулы. Рони уехала с родителями кататься на лыжах в Швейцарию — у нее родители адвокаты, поэтому они себе могут это позволить. Обычные израильские семьи катаются на лыжах на горе Хермон, и то не каждый год. А с Бэнци мы как раз поссорились — как обычно, из-за ерунды. Я была дежурной: мне надо было убрать классную комнату во время перемены и проветрить, а до этого проследить, чтобы никто кроме меня там не остался. А Бэнци решил, что у него будут особые привилегии, потому что он мой друг. И остался. Сидел на своем месте, жевал бутерброд и слушал музыку в наушниках в новом кассетнике. И понятно было, что никакой особой причины остаться в классе у него нет — просто он хочет показать, насколько он особенный. Это меня и разозлило. Я подошла, шутливо сдернула наушники с его головы и сказала: «Давай, выметывайся!» Тут уже он разозлился. Бэнци терпеть не может такого фамильярного обращения — у него, блин, восточная гордость! И он как заорет: «Не трогай меня!» А я повторяю, как можно спокойнее: «Давай выметывайся, Бэнци, ты же знаешь, что нельзя оставаться». А он: «Тебе жалко что ли?!» А я: «Не жалко, такие правила». И он страшно обиделся: «И ты считаешь себя другом после этого?!» Тут я уже стала оправдываться (зря, с Бэнци это очень неправильная тактика): «Я не могу для тебя сделать исключение, у меня обостренное чувство справедливости...» А Бэнци пробурчал: «У тебя обостренный идиотизм!» и еще что-то обидное — мол, он уверен, что мои предки возглавляли революцию в России и у меня — врожденный большевизм, и вышел из класса. После этого инцидента мы друг друга неделю игнорировали — оба слишком гордые, чтобы сделать первый шаг к примирению. А тут наступили каникулы.

Но перед этим меня вдруг позвала в свою комнату мама и сказала очень неожиданную вещь:

— Почему бы тебе не поехать на каникулах к папе?

Я так обомлела, что ничего не ответила. Тогда мама повторила свой вопрос. Я все еще не могла поверить своим ушам — с тех пор, как папа ушел, она ни разу его не упоминала, как будто его никогда не было или как будто одно упоминание его имени причинило бы ей невыносимую боль. Я тоже папу не упоминала и не думала, что мама

в курсе наших разговоров, папиных просьб о моем приезде и моих отказов... Я изумленно спросила:

— Ты хочешь, чтобы я поехала в гости к папе?!

Мама присела в постели и — после паузы — ответила:

— Мне кажется, ты этого хочешь.

— Ничего подобного! Я вообще не хочу его видеть.

Мама вздохнула:

— Ты просто сердисься на него, Мишка. Но, конечно, ты хочешь его видеть.

Не ври себе.

Я растерянно молчала, а мама продолжила:

— Ты имеешь полное право сердиться, но это не может продолжаться вечно.

В конце концов, он твой папа — ты не можешь с ним развестись.

— Кто сказал, что не могу? — буркнула я, но думала совсем о другом: значит, мама все-таки не настолько отсутствует, как мне казалось! Значит, что-то она все-таки замечает и беспокоится обо мне. И само это было настолько невероятным, что мне захотелось во что бы ни стало продлить разговор. Еле слышно я прошептала:

— Там же не только папа... Там же эта...

— Гили? — мама слегка прищурилась. — Ну и что?

— Я ее ненавижу, она забрала папу!

Мама опять вздохнула:

— Мишка, не будь таким ребенком. Папа — не вещь, он сам принял такое решение. К тому же... — тут мама к моему удивлению и почти ужасу улыбнулась своей самой озорной улыбкой, эта улыбка появлялась на мамином лице очень редко, но против нее все были безоружны. — К тому же, разве тебе не интересно увидеть ее, эту Гили? Признайся, Мишка, ты ведь сгораешь от любопытства.

Неожиданно для самой себя я засмеялась. А мама опять легла и махнула рукой, как бы отсылая меня:

— Позвони папе, обрадуй его.

И я увидела, что ее лоб в еле заметных испаринах пота и краска сошла с лица, как будто этот разговор отнял у нее очень много сил. Тем не менее, это был наш самый длинный и содержательный разговор с тех пор, как папа ушел. И он был именно о папе. Хотя бы ради этого надо выполнить мамину просьбу. К тому же — кого я обманываю? Ведь мама права — мне хочется поехать к папе, очень хочется.

Но с папой я, конечно, продолжала «держаться». Хоть и услышала, как дрогнул его голос, когда он понял, что это я звоню — ведь до этого я ни разу ему не звонила. (Правда, я смалодушничала и позвонила не на квартиру к Гили, а в папин офис в университете, но все равно.) Голосом армейского командира я заявила:

— Но у меня три условия: во-первых, не надо задавать мне вопросы, особенно спрашивать про маму — темы для беседы выбираю я, и Гили своей это передай. Во-вторых, если хочешь, чтобы я у вас ела, сам приготовь ужин, и никаких обманов (я прекрасно знала, что папа готовить не умеет, но тем приятней было его огоршить). И последнее — если мне что-то не понравится, ты сразу отвезешь меня обратно на станцию. Ясно?

И на другом конце провода папа с облегчением выдохнул (возможно, он ожидал куда более суровых условий): «Конечно, Мишенька, конечно, все будет как ты хочешь».

Надо сказать, что папа — в отличие от мамы — всегда был со мной строг. Он очень ответственно, можно даже сказать академически, относился к своей роли родителя и считал, что его обязанность — воспитать меня порядочным и думающим человеком. Поэтому мне ничего не спускалось. Голос папа повышал редко, наказывал еще реже, но у него была такая ироничная, язвительная манера говорить, от которой становилось не по себе. Тем более, что требования у папы были высокие. Например, он мог сказать:

«Мне бы очень не хотелось, Мишка, чтобы ты выросла спесивым, самодовольным человеком. Поэтому, будь добра, сходи в библиотеку и наведи справки о среднем уровне достатка в стране, а потом подумай о том, насколько справедлив твой упрек о том, что в этом году мы ездили отдыхать «только» один раз. Я хочу, чтобы завтра ты рассказала мне о том, что прочла, иначе мне будет сложно продолжать тебя уважать». (И я пошла в библиотеку, нашла нужные материалы, записала данные и на следующий день показала папе — сделать по-другому я просто не могла, да мне бы и в голову не пришло послушаться.) Еще он нередко говорил: «Не хочу слышать о том, что тебе скучно, скучно бывает только дуракам — пожалуйста, найди себе занятие». Насчет всего у него было свое мнение, которым он не забывал делиться: «Человек должен быть одет опрятно, так чтобы не было противно на него смотреть. Остальное — неважно, что это за слово — модно? Не признаю!» Или: «То, что завтра приходит уборщица, не означает, что можно раскидать вещи по всей комнате, это свинство! Наоборот, надо подготовиться к ее приходу, чтобы ей было легче пропылесосить и помыть полы — любого человека надо уважать».

К папиной принципиальности я давно привыкла, против папиной критики была закалена. И тут вдруг все закончилось. Папино чувство вины и сознание того, что он провинился, было настолько огромным, что он полностью перестал читать мне нотации, а тон его во время наших разговоров был в основном подхалимским и оттого неестественным. Возможно, поэтому меня так бесили наши разговоры. Это был не папа, а какой-то суррогат. А главное — я воспринимала папино поведение как отсутствие желания воспитывать меня дальше, как будто разведясь с мамой и переехав в Иерусалим, он полностью снял с себя ответственность за то, каким человеком я вырасту, что называется, умыл руки. Подспудно я все ждала, когда же он меня одернет, сделает замечание, хотя бы спросит, почему я уже полгода так упорно не прощаю его. Я все время пыталась нащупать, где граница, где кончается его чувство вины, искала пути вызволить и вызвать настоящего папу из этой призрачной конструкции стандартных и ничего не значащих фраз, но в то же время я специально делала все, чтобы усложнить ему эту задачу. Мне хотелось вернуть прежнего папу, но и нравилось видеть, как он страдает. И я получала наслаждение оттого, что наконец-то это я бичую и линчую его, отыгрываюсь за все годы его язвительных, высокомерных тирад. В то же время, мне страшно не хватало их. Но папино чувство вины, казалось, было бездонным...

Визит назначили на последний день Хануки. Я всегда ждала этот день, как завершающий, наиболее богатый на свет, ведь свет в Хануку по нарастающей, а восьмой вечер — последний, расти больше некуда: зажигают все восемь свечей (плюс шамаш, конечно же, итого — девять), свечи стоят в ряд, как храбрые солдатики из парафина — зная, что скоро сгорят. Свечи умирают, плавятся и этим дают нам свет — он струится, льется, от него некуда деться... Этот момент я всегда любила. Очень короткий, по сути, момент: всего полчаса-минут сорок, потом свечи сгорали. И опять до следующего года: одна свеча, две, три, четыре...

Я всегда ждала этот день, и в этом году жду, но боюсь. Жду с испугом, почти с ужасом. Не знаю, как вести себя с папой — продолжать ли в том же духе, как уже стало привычным за последние полгода? Вернуться к тому, что было раньше, когда мы жили вместе? Но возможно ли это? Может, лучше молчать? Только отвечать на вопросы, и все. Или, наоборот, болтать без умолку, как ни в чем не бывало, чтобы не дать папе возможности что-либо сказать? Но папа — ладно, с папой я как-нибудь разберусь. А вот как вести себя с Гили? И — главное — как будет вести себя она? Это непредсказуемо. По ее фотографии ничего не понятно. То есть кое-что понятно, но недостаточно, чтобы предсказать ее поведение. Самым удобным было бы, если бы Гили тоже передо мной заискивала, как папа, — в конце концов, у нее ведь может быть чувство вины за то, что она лишила меня отца! Тогда я и ее буду мучить, за компанию

с папой — самый простой вариант: вести себя так, как будто своим приездом я их осчастливила — снисходительно отвечать на вопросы, так, как будто делаю одолжение... Но вряд ли. Гили вряд ли будет передо мной заискивать. Скорее, наоборот — поставит меня на место и отомстит за папу. А вдруг ее не будет дома? Может, она испугается и слиняет, по крайней мере в первый мой приезд? Это было бы отлично, даже превосходно. Но нет — и это вряд ли: по взгляду Гили на той фотографии, не тот она человек, чтобы бежать от меня, как преступник. К тому же она наверняка и не считает себя преступником. Может, даже наоборот — спасителем. Столько лет бедняжка не решался оставить полоумную жену, а она спасла его! (При этой мысли меня охватывает ярость.) Конечно же, она будет дома. Это ведь и ее дом. Она там хозяйка. Это она выбирала мебель, занавески, кофейные чашки и полотенце для рук в их ванной комнате. Она будет дома, и сразу станет очевидным, что папа любит только ее, а меня позвал из жалости, из чувства долга — не знаю как, но это будет очевидным. А Гили будет исподтишка меня унижать, демонстрировать, что это ее дом, а не мой, чтобы я не забывалась. Скажет, например: «Сними обувь, у нас дома в обуви не ходят», — подчеркивая это «у нас». Или: «Если хочешь полистать книги, помой сначала руки». Тут я расхохоталась, потому что уже слишком далеко зашла в своих фантазиях — конечно же, ни одна израильянка такое сказать не может — ей и в голову не придет. Скорее всего, она и сама не моет руки — не то что перед тем, как прикоснуться к книгам, а даже перед едой...

В общем, все эти дни я так нервничаю, что даже похудела. А еще я стала злиться и на маму, как на виновника предстоящей поездки, которую теперь хотелось отменить ко всем чертям, но я не решалась — опять же, из-за мамы. (Ну и немного из-за себя: неприятно выглядеть трусом в собственных глазах.) Так и подмывало сказать маме, что она просто хочет взвалить меня на папу, приблизить к нему, чтобы теперь он один за меня отвечал — пусть издалека — потому что сама она не способна быть родителем. Конечно же, я сдержалась. Но подумала, что я уже целый год только и делаю, что сдерживаюсь — так дальше нельзя, а то скоро лопну, и брызги разлетятся по всем стенкам, в том числе ошметки от моих бедных мозгов. Тут я представила себе, как высказываю маме все, что у меня накопилось, и мне стало легче. Все-таки хорошая эта игра в «если бы»...

Но кое что я маме все же сказала. Точнее, спросила. О том, кормила ли она меня грудью. Она ответила, что кормила первые пару месяцев, а потом пришлось прекратить, потому что ей выписали тяжелые антидепрессанты, и меня перевели на «формулу». Мама довольно виновато это сказала и опустила глаза, так что я сразу ее утешила, что, мол, это — фигня, у нас многие женщины и без антидепрессантов не кормят грудью — мода такая, да и почти все выходят из декрета через три месяца, в крайнем случае — пять, и вообще — я просто из любопытства спросила, а на самом деле — мне все равно. Но настроение у меня не улучшилось. Разве что, в каком-то мазохистском смысле было приятно — вот, я оказалась права, и подтвердились мои нехорошие подозрения.

А потом — на шестую свечку Хануки — мне позвонил Бэнци. У нас всегда так, когда мы ссоримся: мы не миримся, не просим прощения и не выясняем отношения — просто выжидаем, а потом один из нас другому звонит, как ни в чем ни бывало. По-моему, отличный способ. Конечно, будь мы влюбленной парочкой, это никогда не прошло бы. Поэтому дружить — в сто раз лучше, ни в чем так никогда не была уверена, как в этом. Бэнци рассказал неожиданную историю про Хануку. Он вообще любит всякие исторические фишки — особенно про войну, про разные там стратегии, хитрости, воинские приемы, короче, все то, что мне как раз совсем не интересно. А Бэнци — прямо знаток. Он, например, знает, в каком году были придуманы разные модели ружей и автоматов и сколько танков участвовало в Шестидневной войне — разные такие штуки... А Ханукальной темой он уже несколько лет фанатеет, говорит,

что это — первая история такого рода и что это в каком-то смысле *абсолютная история*, то есть *история в высшей степени* — ну, про то, как горстка евреев восстала против греков и победила, потому что всегда круто, когда выигрывают те, у кого нет шансов — и все голливудские режиссеры прекрасно об этом знают.

Короче, Бэнци позвонил и — без всяких прелюдий — сказал:

— Я такую крутую вещь узнал сегодня про Хануку — тебе понравится! (Даже не спросил «как дела» из вежливости, но мы же друзья, так что вежливость не обязательна.)

— Про войну? — протянула я. — Не-е-е, не понравится...

— Да помолчи ты! — закричал Бэнци так, что я отодвинула трубку от уха. — Это история про тетку!

— Чью тетку? — не поняла я.

— Да просто тетку! Хватит уже перебивать. Короче, слушай. Помнишь историю Йегудит?

— Которая была дочерью первосвященника и обманом отрубил голову одному из полководцев, благодаря чему греки всполошились и мы их победили?

— Да.

— Так вот...

— Мне эта история никогда не нравилась — слишком похожа на Яэль и Сисру из Торы, только другие времена и другой злодей. Неужели нельзя придумать что-то пооригинальней?

— То-то и оно! — торжествующе завопил Бэнци, и я опять отодвинула трубку от уха. — То, что мы знаем, — это официальная версия, а есть еще одна, и она куда интересней, просто она такая... немного скользкая, неожиданная такая, поэтому ее замалчивают, даже не во всех ешивах преподают — это мне дядя объяснил, от него я и услышал эту версию, но она существует, и серьезные мудрецы, даже один чувак из Цфата, знаменитый, забыл его имя, поддерживали именно эту версию и...

— Давай уже, рассказывай! — завопила я, заразившись ажиотажем Бэнци.

— Короче, ты в курсе, что помимо того, что греки оскверняли храм и запрещали евреям соблюдать заповеди, они еще ввели такой «прекрасный» закон, что каждая еврейская невеста перед тем как выйти замуж, должна достаться их вожаку, то есть переспать с ним...

— С Антиохом что ли? Или был еще кто-то главнее?

— Ну... наверно с Антиохом. Какая разница, как его звали? В общем, ввели они этот закон...

— Это называется «право первой ночи».

— Ну все, пока.

— Бэнци, не кипятись, я молчу, клянусь.

— Ну, просто, Мишель, блин! Ты так здорово умеешь испортить любой рассказ...

— Все, молчу. Молчу.

— Так я и поверил... Ну ладно. Короче, ввели такой новый закон. И евреи его тоже проглотили, как и все остальные законы, которые были против них направлены. И невесты выходили замуж, а перед этим, как миленькие, ходили к этому князю или царю, как его там, а их мужья на это закрывали глаза. И вот настал черед Йегудит выходить замуж. А она же дочь первосвященника, и все такое — и на ее свадьбу приходят все самые важные и знаменитые и уважаемые евреи, все ху из ху. Ну и все ждут выхода невесты. А она... выходит к гостям абсолютно голая, в чем мать родила. Вот так. Представляешь? Ну и все офигели, конечно. Как так? Целомудренная еврейская девушка — как ты можешь, позоришь себя, позоришь своего отца, бла-бла-бла. А она такая им выдает: «Это я себя позорю?! Это вы — трусы позорные! Ханжи несчастные! То есть на то, что я вышла голой вы внимание обратили, да? А то, что сейчас до мужа меня будет трахать греческий царек — это, типа, окей? И то, что нам запрещают и то, и это, и не дают быть евреями — это тоже окей? На себя посмотрите, а потом уже мне

нотации читайте и спрашивайте «как ты можешь?» Ну и они такие задумались, им стыдно стало, и они поняли, что Йегудит права — что она им таким образом, через шок, открыла глаза. И они собрали в кучу свои яйца и подняли восстание против греков. То есть, если бы не этот дикий закидон Йегудит, они бы и не почесались, получается — все благодаря ей и ее смелости. Ну как, Мишель? Как тебе история?

— Офигенная!

Я не лукавила. Мне правда очень понравилась история. Как раз то, что мне нужно было услышать. Как ни странно, после этого я успокоилась и уже не так боялась встречи с Гили. Мне показалось, что я похожа на эту Йегудит, что я вот тоже так могла бы — потому что я тоже смелая и говорю то, что думаю. (Бэнци я этого, конечно, не сказала — он бы меня высмеял.) То есть, я не собиралась голой приезжать к папе, ничего такого. Но я вдруг почувствовала себя сильной, далекая Йегудит меня вдохновила. И пусть это легенда, пусть на самом деле даже близко ничего такого не было. Какая разница? Это то, что должно было быть. (Мне вообще кажется, что главный смысл легенд — показать нам, как что-то должно быть, или должно *было* быть, ту правду, которая не историческая, а идеальная, то есть — правда наших желаний, нашего ощущения того, что правильно, а это гораздо сильнее любой правды исторической.) И я подумала: какого черта я так переживаю, так боюсь какой-то Гили, какого-то папы, что даже забыла, кто я такая?! Ведь я — это я, это главное, это единственное, что у меня осталось. А я — смелая и говорю то, что думаю, и в этом моя сила. Давай не будем забывать про это, Мишель Аронсон, давай?..

И был вечер, и было утро, и наступил седьмой день Хануки. И был вечер, и было утро — классное выражение, правда? Оно очень здорово придает значимость происходящему. И так... И был вечер, и было утро, и наступил день восьмой. Точнее — день восьмой свечки. День, когда вечером зажигают все восемь свечей, тот самый день — вы все поняли, да? И был вечер, и было утро... А утром я просыпаюсь, и какое-то неприятное ощущение, как будто я описалась. Но я даже в раннем детстве не писалась, поэтому стало одновременно гадко и страшно. Стягиваю трусы, а там — кровь, и после первой секунды ужаса — облегчение: а-а-а, всего лишь. Не знаю, что у меня за судьба такая: все не вовремя, ну, абсолютно все! Если бы месячные появились полгода назад, до того, как папа ушел, — я была бы вне себя от счастья. Я ведь последняя в классе, у всех девочек еще в прошлом году началось, у кого-то даже в позапрошлом. Я уже переживала, что со мной что-то не так, ну и вообще в таких вещах не хочется выделяться. К тому же, говорят, что иногда именно после этого грудь начинает расти (у тех, у кого она долго не растет, вроде меня). А с грудью меня уже достали — несколько тупых мальчишек из класса. Я даже специально лифчики купила и на некоторых футболках вырезала шире ворот, чтобы видны были бретельки. (Но это не помогло. Моти еще и спросил: «Зачем ты на свои прыщички напяливаешь лифчик?») И сами по себе месячные — это прикольно, дает тебе статус, что ты уже женщина, а не сопливая девчонка. Наконец-то я смогу чувствовать себя нормальной!

Все эти мысли промчались бы через мою голову, как стадо слонов, всего лишь полгода назад. Они и сейчас промчались — утром восьмого дня, просто уже не доставили радости. Я вообще, кажется, разучилась радоваться. Но надо что-то предпринять, поэтому звоню Рони. Она только вчера вернулась с лыжного курорта, и я ее, конечно, разбудила, поэтому голос у нее недовольный, но она меня не упрекнет — так воспитана.

— Прикинь, Рони, — говорю, — у меня началось.

— Что началось?

— «Это». Оно самое. Я стала женщиной.

— А, это? — фыркает Рони. — Ну наконец-то. (Ей легко говорить, у нее уже год назад началось.)

— У меня к тебе просьба... Ну... одолжение. А ты можешь...

— Конечно.

— ...всем рассказать? Что у меня началось? Я сама не хочу, но пусть меня уже оставят в покое!

— Я расскажу Шире, и через два дня весь класс будет в курсе, — смеется Рони.

— Не надо Шире, — протестую я, — она еще какую-нибудь гадость к этому прибавит.

— Да что тут можно добавить? — отмахивается Рони. — У тебя начались месячные, и все тут.

Если честно, в таких вещах я на Рони не очень полагаюсь — фантазия не ее сильная сторона и в людях она не очень разбирается. Но у меня нет сил спорить. Особенно этим утром.

— Окей, — говорю, — будем надеяться, что ты права. Для того чтобы Шира не слишком злилась, скажи ей, что у меня очень болит живот, ладно? (Сама Шира всегда таким образом намекает на то, что у нее «те самые дни», — громко и многозначительно жалуется на боли в животе, часто при этом бросая на меня презрительные взгляды и переглядываясь с другими девочками, как будто они все — члены элитного клуба, куда мне доступа нет.)

— А ты не хочешь меня спросить, как было в Швейцарии? — подкалывает Рони.

— Точно. Прости. Как было в Швейцарии?

— Скучно. Дико скучно. Папа, мама и Том с Дафной катались на лыжах до опупения, а я в первый же день вывихнула ногу и все оставшееся время валялась в номере и смотрела телек.

— А по-моему звучит неплохо, — говорю я. — Ладно, мне надо бежать. У меня через полтора часа автобус в Иерусалим.

— Едешь к своему папе? — голос Рони не выдает ни удивления, ни эмоций, но я знаю, что она удивлена и немного обижена, что узнает об этом только теперь.

— Ага. Потом все тебе расскажу.

— Ну пока, — и Рони вешает трубку.

Если честно, я хотела попросить Рони о двух одолжениях, но упомянуть о втором так и не решилась. Хотя она моя лучшая подруга. Но все равно неприятно было дать ей понять, что кроме нее мне не у кого спросить. Ну... про прокладки, и все такое. А мне на самом деле не у кого спросить. Бабе Розе не хочется рассказывать, она и так страшно волнуется из-за моего визита к папе, если узнает, что у меня месячные, может все отменить к чертям. К тому же она такая старая, наверно, уже все забыла, а может и не было прокладок в ее времена (раз они себе попу вытирали газетами вместо туалетной бумаги, как рассказывает бабушка, то прокладок уж точно не было — не нужно быть Эйнштейном, чтобы сделать такой вывод...) А с мамой и так все ясно, ведь мама теперь не мама, она сама не своя, и незачем ее беспокоить, тем более что дверь в ее комнату закрыта — она спит или хочет, чтобы я думала, что она спит... Самой идти в суперфарм тоже не хочется, тем более что в дальний суперфарм я не успею, а в ближнем меня все продавщицы знают. Правда, у нас о таких вещах очень свободно говорят, даже подчеркивают — я уже рассказывала. Моим одноклассницам ничего не стоит в начале перемены громко крикнуть: «У кого прокладка есть? Срочно надо!» Кроме Рони, конечно, она во всем сдержанная, но когда у нее из рюкзака выпала прокладка, она тоже не растерялась — положила ее обратно, и все, даже бровью не повела. А я так не могу — стесняюсь. Сама не понимаю чего, но ведь я уже говорила: этим утром мне некогда в себе копаться! Мрачно думаю, что это меня «русское» воспитание испортило и принимаю единственно верное решение: пулей пролетев мимо бабушки, запираюсь в ванной комнате и набиваю трусы ватой из целлофанового пакета в шкафчике за зеркалом. Еще один большой кусок ваты зажимаю в кулаке, незаметно выношу из ванной и запиховываю в сумку, которую собираюсь взять в

Иерусалим — впрок. Баба Роза смотрит на меня с подозрением. Хотя она наверняка именно так в свое время решала проблему «кровавых дней».

Баба Роза волнуется. Не хочет этого показывать и еще сильнее себя выдает. Кормит меня, как в последний раз — как будто я еду не к папе в Иерусалим, а в ссылку в Сибирь. И с собой — «покушать в дорогу» — сунула яблоко в полиэтиленовом пакете, чтобы предохранить его от микробов. И сто раз повторила: «Позвони, когда доедешь. И когда он тебя посадит на автобус обратно». (С тех пор как папа ушел, бабушка называет его не иначе как «он».) «И вообще звони. Если что — сразу звони.» Эту фразу бабушка повторила всего раз двадцать, но с напором. И один раз фыркнула: «Хоть для чего-то тебе пригодится его нелепый подарок». Ведь на дне моей сумки — мобильный телефон. Еще пару лет назад такой чудо телефон (наши, конечно, умеют придумать завлекательные слова, сразу метко назвали *пэлэфон* — то есть буквально — чудо-телефон) казался мне мифическим, существующим где-то за океаном — в Америке, в космосе, у инопланетян. А теперь он появился и у нас, и вдруг — оп, у всех он есть, «у всего Израиля и его сестры», как у нас говорят. Но только у взрослых, конечно. Для детей он слишком дорогой. Поэтому папа, когда уходил к своей Гили, оставляя меня с мало вмняемой мамой, купил мне именно такой телефон. «Чтобы ты всегда могла со мной связаться, где бы ты ни была!» — пафосно, как только он умеет, сказал папа. И конечно же, до недавнего времени этот телефон так и лежал в своей коробке, упакованный в пластик, и никто так и не узнал, что у меня — единственной в классе — есть мобильный. Даже ради зависти Ширы я этот папин подарок использовать не хотела. Но бабушка, готовясь к моей поездке, достала телефон из упаковки и поручила дедушке как единственному инженеру в нашей семье — разобраться с тем, как «эта сволочь работает». Дедушка тоже меня провожает и тоже, кажется, нервничает. Даже ни разу не упомянул утренний выпуск новостей. А мама все не выходит из спальни — обидно.

Я одновременно напяливаю свитер и причесываюсь на ходу. «Ты ничего не покушала», — говорит бабушка. Она ходит за мной по пятам по квартире и уговаривает что-то съесть. «Бабушка, я съела два бутерброда и пол-яичницы...» «А фрукты? А овощи? — не отстает бабушка. — Хочешь, нарежу перчик?» — «Я сейчас опоздаю на автобус», — отмахиваюсь я, хотя до автобуса еще полчаса, а идти десять минут, и мы обе это знаем. Но я уже у двери, перекинула сумку через плечо, втискивая ноги в старые, потертые кроссовки без шнурков. «Мишка! — умоляюще взывает дедушка. — Ты только не забывай — если увидишь террориста, сразу выходи из автобуса, не жди, на следующей же остановке выходи!» «Обязательно, дедушка», — я целую его и исчезаю за дверь, успев бросить: «Только как я узнаю, что это — террорист?» И вслед, пока я сбегаю по лестнице, до меня доносится: «У террористов подозрительный вид! А еще у них бывают усы-ы-ы-ы!»

Как только выхожу на улицу, сразу жалею о том, что надела кроссовки. Дождь льет не переставая, у тротуаров глубокие лужи, да и на дороге воды по шиколотку. В этом главное отличие израильских зимних ливней — льет подолгу, без передышек, иногда сутки или двое напролет, и вода везде — почти потоп, а иногда и маленькие наводнения случаются, потому что наши дороги для дождей все-таки плохо приспособлены. Зато все радуются, потому что в такие дни повышается уровень озера Кинерет — единственного водоема пресной воды в нашей стране — даже в новостях не забывают упомянуть. (А потом — ближе к лету — уровень воды опять падет, и по телеку будут крутить рекламу о том, как круто это для пар принимать совместный душ — и сблизает, и экономит воду!) Но мне сейчас плевать на Кинерет: я понимаю, что на полпути к остановке кроссовки будут насквозь мокрыми — может, даже раньше! Конечно, это моя самая небрежно-крутая обувь, то есть, правильная обувь для Гили, но сапоги или мартинсы с толстыми подошвами были бы куда больше по погоде. Вернуться домой и переобуться? Исключено! Во-первых, я только что вырвалась от

бабушки с дедушкой, как в русской сказке про Колобка, которую мама мне читала в детстве: от дедушки ушла и от бабушки ушла... Во-вторых, это просто не в моем стиле: раз уж приняла решение, я от него не отказываюсь, каким бы глупым и разрушительным оно ни было. Так я устроена. Майка говорит, что я в папу — такая негибкая, это мне неприятно, конечно, но пусть — хоть в чем-то я могу быть на него похожа?! Зонтика у меня с собой тоже нет, и за ним тем более возвращаться нет смысла. (Хорошо, что у куртки гигантский капюшон, под ним и прячусь.)

Зато по дороге к остановке захожу в нашу пекарню — давно там не была (предоставляю это дедушке, которому нравится баловать меня булочками), и пекарь Шалом успел соскучиться, бурно встречает меня, пытается заговорить по-французски (все время забывает, что мы — не французы, из-за моего имени, так что за время нашего знакомства я даже успела выучить несколько слов по-французски). И там, в пекарне, под картавое воркование добродушного, толстого Шалома, бросив взгляд на румяные, усыпанные сахарной пудрой пончики, понимаю, что в этом году не съела ни одного. Ни одного пончика! Сегодня — последний день Хануки. Как так получилось? Я, конечно, не такая сладкоежка, как мама, но все-таки... Наверно, дело в том, что дедушке нельзя такое жирное из-за высокого холестерина, вот он и сдерживался, чтобы себя не искушать. А может, и в голову не пришло. Вдруг меня осеняет: может, купить пончиков папе и Гили? Это красиво. Это по-взрослому. Меня ведь учили, что в гости нельзя приходить с пустыми руками. Так и сделаю: с одной стороны — вроде уже не обижаюсь, а с другой — я именно в гостях, не дома, а в гостях, пусть никто не строит иллюзий, прежде всего — я сама. На гигантском противне много разных сортов — даже со стуженкой и с шоколадом — но я выбираю классические: с клубничным вареньем.

До Иерусалима от нас, из Рамат Илана, автобус прямой. Проезжает через Гиват-Шмуэль и Бней-Брак, где подбирает всех религиозных, и оттуда едет уже практически без остановок. Всего пятьдесят минут, но для нашей крохотной страны — это внушительное расстояние, и поездка в Иерусалим — событие значительное. Хорошо еще, что рядом с нами районы, где много религиозных, — иначе бы не было прямого автобуса, пришлось бы ехать с пересадками, через центральную станцию в Тель-Авиве...

Пятьдесят минут — это много времени, особенно в общественном транспорте. За это время можно успеть выложить всю свои секреты и тайны случайному попутчику. Именно поэтому я всегда любила междугородние поездки в автобусах — по крайней мере, в последние несколько лет, с тех пор как мне стали разрешать ездить самой. Может, мне просто так везет, что со мной хотят откровенничать, но израильтяне в принципе любят поговорить — и похвастаться, и пожаловаться — даже не знаю, что больше, а со случайным человеком, которого больше не увидишь, тем более. А «везение» это у меня от мамы — перед ней тоже вечно норовят распахнуть душу. Только мама от этого страдает — ее раздражает, что ее вынуждают отвлекаться от собственных мыслей, выуживают из «своего мира», как золотую рыбку (но это я о прошлом, конечно, с тех пор как она валяется в постели целыми днями, ее покою ничто не угрожает). А мне нравится — интересно же. Из самого яркого на моей памяти: подросток, у которого папа — араб, а мама — еврейка, и его рассказ об их жизни в арабской деревне под Хайфой и фраза о том, что главное — любовь, а остальное ерунда (опыт моих родителей показывает обратное, но тогда я этого не знала, и в конце концов, этот Нисим был очень убедительным), девушка лет двадцати пяти, вся в тату и пирсинге, рыдающая из-за смерти своего пса, потому что он был единственным другом («Представляешь, я прихожу, а он на меня смотрит, как будто знает, что я изменила Лиору с Дуду, так укоряюще смотрит, но с пониманием и прощением, и не гавкает даже — кто теперь будет на меня так смотреть?!») А еще старушка, двенадцатилетней девочкой попавшая в Освенцим (выжила единственная из всей

семьи), показывала мне номер на своей сморщенной, пожелтевшей руке: «Мне нравится думать, что это — номер телефона Бога, когда придет время, я по нему позвоню...» В общем, автобусных разговоров я ждала как приятную прелюдию неизвестной авантюре (а может, и экзекуции) с папой и Гили. Только автобус полупустой, рядом со мной никто не садится. А еще — все вокруг болтают без умолку по телефону, тот самый «Израиль и его сестра» — новое занятие, новое развлечение... Прощай автобусные разговоры. Очередной облом.

Правда, поначалу я даже рада, что рядом со мной свободное место — это позволяет без стеснения снять промокшие носки и запихнуть их в сумку, пока не начали вонять (хотя, кажется, уже немного начали). Кроссовки натягиваю на босу ногу — а что? Скажу папе, что это мода такая, он при слове «мода» передернется и искривит лицо, но ничего не скажет. К тому же, когда я перестаю возиться с носками и чуть-чуть напрягаю слух, то понимаю, что телефонные разговоры тоже могут быть весьма интересны и познавательны.

Например, волосатый мужик с огромным золотым маген-давидом на груди, который сидит за три ряда передо мной, орет на весь автобус, даже напрягаться не надо, и так все слышно. Он бурно жестикулирует и кричит: «Ици, Ици, душа моя, да я же тебя, как брата люблю, брат ты мой, братик, братишка! Да я ни в жизни, клянусь здоровьем своих детей... ну и что, что у меня нет детей? Будут же когда-нибудь! Хорошо, хорошо, душа моя, расслабься, да? Я просто пошутил. Жизнью клянусь, хочешь, поклянусь жизнью? Кого хочешь спроси, тебе все скажут, что Моше Мизрахи — не вор. Кобель — да, негодяй — да, бандит — может быть, но не вор, не вор, Ици, слышишь?! Ах так?! Вот как ты со мной разговариваешь? Да плевать я на тебя хотел, на тебя и на твои угрозы! Вот как?! Ну хорошо, мразь, я тебя размажу по стенке, имя твое сотру с лица земли, не только тебя, но и имя твое, проклятый, тьфу!... Что?! Нет, не расслышал... Ну хорошо, хорошо... Договорились. И ты меня прости. Я — великий грешник, Ици, да, но тебя я люблю, за тебя — жизнь отдам. Да. Да. Жене привет передавай. И тебя с праздником, друг, здоровья, только здоровья, до ста двадцати, пока, брат, пока».

А сзади меня — девушка в солдатской форме: отставила ружье к окну, положила правую ногу в ботинке на толстой подошве на свободное сиденье, без конца надувает пузыри из жвачки и тут же лопают их, и между этими звуками что-то лениво цедит в трубку: «Ну дааа... Но я не знааааю... Не знаааю... Я ему вчера сказала: с Дани я была королевой, а с тобой не королева... А я хочу быть королевой... Ну прааавда... Дани делал так, что я была такааая королева... Ну, я не знаю, что он такого делал, просто мы появлялись где-то, и на меня все смотрели, потому что я была рядом с ним. Дааа... А еще он мне набивал рюкзак шоколадками, я их потом находила уже на базе и тааак радовалась... Рами всего этого не может — с ним я не королева... Даже не хочется на выхи к нему ехать — лучше домой, моя мама на шаббат такой чолнт делает — тает во рту, после армейской еды — самое оно, ага... Не, у нас мудацкий повар, у него только яичница хорошо получается... Везет тебе! Ну, короче, не знаю, что делать, Рами не понимает, что я от него хочу. А я хочу, как с Дани — быть королевой... Почему я рассталась с Дани?! Ты не знаешь?! Он же мне изменил со своей командиршей — да, один парень из его отряда рассказал — типа, все знают, что он ее трахает... Ага, ага. Ты права, да. Угу. Но с ним я была королееееевой...»

Мне вдруг резко хочется кому-то позвонить — надоело быть слушателем, у меня ведь тоже есть жизнь! С Рони я сегодня уже говорила — остается Бэнци. Правда, странно, что я ему из автобуса позвоню — он даже не знает, что у меня есть мобильник. И вообще — получится, как будто я его девушка, раз звоню из автобуса. Не знаю, звонят ли просто друзьям из автобуса, не думала про это. А мы ведь с Бэнци все очень четко определили — в прошлом году, в позапрошлый Йом Киппур, то есть. Правда, несколько раз ловила себя на том, что жалею, что может быть... но я сразу такие мысли

пресекаю. Ведь я сама все так расставила, поэтому Бэнци с тех пор ни разу ни на что такое даже не намекал, как будто такого разговора и не было. Ну конечно. Ведь Бэнци — человек уважающий себя. И меня. Он человек чести. Больше чем мой папа... Интересно, это — что-то восточное? Ну и ладно, наверное, это действительно к лучшему. Зато нашей дружбе завидует весь класс, только мы так дружим — мальчик с девочкой, больше никто, и Бэнци выстоял даже, когда все мальчики его высмеивали. Но он по-прежнему лучше всех играет в футбол, ему все можно. Он даже может позволить себе дружить с девочкой, у которой плоская грудь...

Жаль только, что с Рони они не ладят. Бэнци находит ее слишком «правильной» и «принципиальной». Правда, меня он тоже в этом иногда обвиняет, но я — бунтарь, а Рони — нет. Бэнци считает, что Рони — скучная, только это — неправда. Она бывает озорная. По-своему. И у нее отличное чувство юмора, только надо хорошо ее знать. Она не со всеми открывается. Да у нее и цели такой нет — произвести впечатление. Она самый спокойный человек из всех, кого я знаю, — поэтому мне с ней легко, а ей со мной — интересно. Но она не скучная, нет. Просто своеобразная. Еще их строго воспитывают — они очень богатые, но по детям этого не скажешь, и у них в доме масса правил. Поэтому Рони всегда любила приходить ко мне домой — до недавнего времени...

А Бэнци можно и позвонить — ведь у меня, можно сказать, экстремальные обстоятельства...

— А я как раз о тебе думал, — ржет в трубку Бэнци. — Тебя можно поздравить?

— В смысле?

— Ну, с этим... — Бэнци, кажется, смущен, но не хочет показывать, — у тебя началось, это самое...

— О Боже, ты уже знаешь?

— Ну да, мне Шира позвонила. (Понятно. Что ж, я сама этого хотела...) Я даже думал обидеться, что ты мне не рассказала — но потом мне тоже тебя жалко стало... Это из-за того, что я мальчик?

— Хорошо, что у тебя хватило мозгов не обидеться, Бэнци! А что значит «жалко»? И почему «тоже»? Что именно Шира сказала?

— Да ничего такого...

— Бэнци! Не ври мне. Почему меня жалко?!

— Ну... потому что у тебя началось, и тебе даже не с кем пойти купить прокладки...

— Она так сказала? Сука! Почему не с кем?

— Ну, думаю, она про твою маму...

— Откуда она знает про мою маму? Неужели ты ей сказал, Бэнци? Я знаю, что Рони проговориться не могла.

— Я не говорил.

— Так откуда она знает?!

— Не ори!

— Хочу и буду орать! Ты друг или предатель, Бэнци?! Если ты не говорил, откуда Шира знает? Откуда она знает про мою маму?!

— Господи, Мишель, да все знают про твою маму — весь класс, давно!

— Как... как давно?..

— Ну она немного странная, это все замечали и всегда говорили, что она... немного куку... А в последние полгода она ни разу в школе не появлялась, так что... Люди делают выводы, Мишель, мы ведь не в первом классе...

(Я молчу и глотаю слезы. И боюсь заговорить, потому что у меня будет дрожать голос.)

— Мишель? Мишель, ты тут?

— Да.

— Ты что, плачешь?

— Не твое дело.

— Блин, Мишель, не надо на мне вымещать, ладно?

— А почему ты мне не говорил? Что все знают? Почему ни разу не сказал... Я теперь чувствую себя полной идиоткой. Полнейшей.

— Я знал, что... что тебе это будет неприятно. Я твой друг, Мишель. Ладно?

— Ладно. Прости, Бэнци, мне надо бежать... Увидимся завтра в школе.

— Позвони мне вечером, окей?

— Зачем?

— Пожалуйста.

— Хорошо. Пока.

Нажимаю на красную кнопку на новеньком черном и блестящем телефоне и понимаю, что так и не похвасталась Бэнци, что у меня есть мобильный.

Настроение, которое поднялось от подслушанных разговоров, испорчено. И как назло, автобус уже подъезжает к главной станции Иерусалима. Сейчас я выйду из автобуса, пройду контроль безопасности и встречу папу. Нет, только не это! Не хочу, не готова! Мне казалось, что... Но нет, нет. Последний раз я видела его в конце лета, когда он приехал за своими вещами — за нарядными рубашками и галстуками. А книги потом вывезла специально нанятая им компания. Не удивительно: в последний раз, когда он приехал, мама так и не вышла из спальни (и папу туда, конечно, тоже никто не пускал — рубашки вынесла оттуда бабушка), а я выдавила из себя два-три слова и смотрела уничтожающим взглядом. Испытание не для слабонервных. Не удивительно, что после этого он стал подлизываться по телефону и не настаивал на встрече, когда я пресекала его попытки... В тот последний приезд, как только он уехал, я открыла шкаф и вывалила на пол все вешалки из-под его рубашек. Нечего им висеть в шкафу и напоминать о папе. Время от времени, когда мама спала или принимала долгие ванны, я заходила в их спальню, открывала шкаф и нюхала папины рубашки — они еще немного пахли папой. До сих пор не могу себе этого простить — постыдное малодушие! А те вешалки я отнесла на помойку, как будто они заразные — мама не возражала и вообще никак не прокомментировала...

Бежать! Сейчас выйду и побегу к другому входу, сяду на автобус обратно в Рамат-Илан, а папе потом скажу, что заболела. Тем более, я, кажется, на самом деле заболеваю — меня знобит. Но как только схожу с автобуса, вижу, как по ту сторону турникета, у самого выхода из здания станции, стоит папа и машет мне рукой. Черт! Кажется, он стал ниже ростом. И седых волос прибавилось. А может, просто свет так падает. Он чешет свою густую курчавую шевелюру, чуть отклонив назад голову, — нервничает. Поэтому мне нужно быть спокойной. Медленно вдыхаю носом холодный декабрьский воздух и выдыхаю через рот, чтобы дышать ровно. Становлюсь в очередь на контроль, специально не тороплюсь — пусть папа подождет. Да и не хочется толкаться, а у нас иначе очередь не занимают... Охранник открывает мою сумку и бросает туда брезгливый взгляд — от мокрых носков уже попахивает — блин! Надо было их выбросить... Потом захлопывает сумку, показывает жестом, что я могу проходить, и я оказываюсь лицом к лицу с папой. Папа хочет меня обнять, но что-то подсказывает ему, что не стоит (молодец, соображает). Поэтому он просто хлопает меня по плечу: «Привет, Мишка, как ты выросла!» «Привет, — говорю, проглотив слово «папа», — а ты — нет, странно».

Для того чтобы снять напряжение, первым делом включаю в машине радио. Шломо Арци — культовый певец папиного поколения — поет песню про дождь, а дождь все идет — какое совпадение. Тут папа своим длинным, аристократическим пальцем радио выключает. Понятно — сообразительности хватило ненадолго. Очевидно, подсознательно папа признает радио хорошим выходом, поэтому начинает его имитировать и всю дорогу без умолку болтает: «Ты заметила, я помыл машину? Специально ради тебя, ха-ха. А тут как раз пошел дождь — вот так всегда, закон подлости. А ты не промокла? Без зонтика, как всегда? Сейчас тебя отогреем. Знаешь, Гили — большой любитель чая, у нее целая коллекция, и она разбирается в этих

травках: что успокаивает, что лечит — тебе понравится. А еще я тебе, наконец, вручу Ницше — решил его не посылать, раз ты пожаловала собственной персоной, как говорится... Решила порадовать старика! Что ты смеешься? Я знаю, что для вас я уже старик... Даже Гили иногда... В общем, конечно, есть такая штука, как разница поколений. А Ницше обязательно прочти — ты не представляешь себе, какая это важная веха в мировой философии, он много на кого повлиял, даже на Гитлера, но тут Ницше не виноват, а ты — вполне созрела, чтобы читать серьезные вещи, у тебя очень хорошо мозги варят, Мишка. А еще он повлиял на Достоевского конечно же — об этом много написано, но я как раз сейчас в новой книге рассматриваю это с другой точки зрения...» Надо сказать, что на Ницше я отключаюсь. Тем более, у меня совсем другие заботы: я чувствую, что кровь протекла через вату в трусы и, вероятно, в брики, и страшно боюсь, что она зальет сиденье папиной машины...

Гили открывает дверь, и очень просто, как будто мы давно знакомы и сто раз виделись, говорит: «Привет, Мишель!» Я сразу говорю, что мне нужно в туалет, Гили кивает головой: «Направо», — и я бегу туда, даже не разувшись, и молюсь про себя, чтобы на джинсах сзади не было кровавых пятен. Успеваю только заметить, что у Гили в носу сережка, и с раздражением думаю, что мне бы папа в жизни такое не разрешил, и вспоминаю, как он долго и занудно читал нотации Майе, когда та сделала татуировку на лопатке.

На джинсах пятен нет, то есть только изнутри, а сзади не видно, зато трусы — кровавые, и вата — насквозь. Надо выбросить эту вату и поменять на ту, которая в сумке. Только... только вот урны здесь нет, отдельной «туалетной» урны для «туалетных» дел здесь нет. Черт, этого я не предвидела. Теперь мне крышка. Не могу же я выбросить эту кровавую вату на кухне — лучше умру! Наматываю на руку туалетную бумагу, сворачиваю ее и подкладываю между ватой и трусами, и другой такой же «вкладыш» — сверху. Должно сработать. К тому же, что мне еще остается?

Гили в хлопковой просторной кофте цвета хаки и зеленых шароварах — наверно, из Индии. Ее волосы забраны в конский хвост. Она разливает чай, угощает меня рисом с овощами («Гили — вегетарианка!» — сообщает папа таким тоном, как будто она получила нобелевскую премию, и я невольно вспоминаю, как он называл вегетарианцев «спаржеедами» и подтрунивал над Майей, когда у нее был такой период). Гили непринужденно разговаривает и шутит, не избегает моего взгляда, не нервничает, но и не нарушает границы. «Я очень рада, наконец, с тобой познакомиться», — говорит она, и я вижу, что — искренне, при этом в ее словах нет никакого скрытого упрека за то, что я не приезжала раньше — просто констатация факта. Я должна ее ненавидеть или хотя бы презирать — что за женщина, у которой нет урны в туалете?! (Что сказала бы бабушка Роза? Да она бы на порог не пустила такую «плохую хозяйку», правда, маму тоже трудно назвать «хорошей хозяйкой», а мама — ее дочь... Так, стоп! Не хочу сейчас думать о маме, да и о бабушке — тоже!) Но я не могу ее ненавидеть и даже уже не хочу. Неожиданно, вопреки всем моим теориям, Гили мне просто нравится — это тот единственный сценарный ход, который я не предусмотрела... Я смотрю на Гили — на ее прямой, самый обыкновенный нос (за исключением сережки) и на такой же прямой взгляд карих глаз (тоже вполне обычных), на чуть толстоватые щиколотки, которые видны из-под шаровар, на ненакрашенные, неухоженные и даже местами надкушенные ногти на руках, и на все ее открытое, чуть грубоватое лицо, смягченное еле заметными веснушками. Смотрю на Гили и понимаю: то, что я заметила давно на ее фотографии — абсолютная естественность, простота, почти переходящая в грубость, — на самом деле подводится под одно понятие, одно слово (точнее два) — уверенность в себе. То, чего у меня никогда не будет.

«Мишка! — говорит папа, бесцеремонно перебивая поток моих мыслей. — Мишка, нам надо сказать тебе одну вещь, очень важную вещь!» — И умоляюще на меня смотрит, а я не могу понять, почему в присутствии Гили он вдруг перешел на

русский. Но Гили, хоть и не знает русского, очевидно, поняла, что сказал папа, она бросает: «Зээв, это не срочно, успеется». «Нет, — говорит папа, — нет! Я полгода не видел Мишку, не знаю, когда мы увидимся еще, и мне не терпится все рассказать. Я хочу начать с чистого листа, чтобы между нами не было секретов и чтобы... чтобы мы тоже были в каком-то смысле семьей... То есть... Если Мишка, конечно, простила меня, но я надеюсь, ее приезд означает именно это...» О боже — думаю — какой ужас! Исповедальной речи папы и "прямого разговора" я тоже не предвидела. И вообще — папа забыл о моем условии: темы для беседы выбираю я? Но меня знобит, у меня точно температура, и у меня нет сил на войну с папой — банально нет сил. Поэтому я молчу.

Зато Гили говорит: «Зээв, ты слишком много разговариваешь». И папа замолкает посреди фразы. Гили смотрит на меня и улыбается, и пожимает плечами, как бы говоря: «Ну что с него взять? Он же большой ребенок!» Меня одновременно душит злость (ведь мама никогда бы не посмела сказать такое папе) и распирает восхищение (что есть человек, который смеет так с папой говорить). И чтобы понравиться Гили, чтобы показать, что у меня все отлично, что я — спокойна и даже могу шутить, говорю: «Какая у тебя новость, пап? Ты замочил декана и садишься в тюрьму?» И что-то ноет внутри оттого, что я, наконец, сказала это слово — «папа», и специально не смотрю на Гили, хотя краем глаза вижу ее улыбку, но папа не улыбается, для него этот момент очень серьезен, слишком серьезен. И тут слышу голос Гили — она очень просто и мягко говорит: «У тебя будет брат, Мишель. В начале лета у тебя родится брат». Молниеносно перевожу взгляд на нее, на ее живот. Гили смеется: «По мне еще не видно. Но, если хочешь, можешь потрогать».

У меня одновременно две мысли, и не знаю, какую думать, они соревнуются между собой, почти дерутся. Надо их разъединить и подумать отдельно. Во-первых, я столько лет выпрашивала у мамы с папой брата, но мне всегда отказывали (теперь понимаю, почему), и я уже смирилась, что брата у меня никогда не будет. И вот он — мой шанс. Лучше поздно, чем никогда. Конечно, у мамы с папой был бы, наверное, более красивый ребенок, но что толку об этом думать? Проехали. А во-вторых, я почему-то думаю о том, что моя сегодняшняя кровь и то, что Гили беременна, — в общем, то же самое, и это нас сближает. То есть я понимаю, что кровь, неприятное липкое чувство унижения, которое будет повторяться много лет из месяца в месяц — это все для того, чтобы потом, когда-нибудь, я смогла выносить и родить ребенка. Никто не спрашивает, хочу я или нет, но мне дается эта возможность, и за саму возможность — уже есть цена. Точно так же для того, чтобы в животе Гили мог сейчас расти человечек, к которому и папа, а значит, и я имеем отношение, она должна была много лет из месяца в месяц терпеть унижение и чувство липкой гадливости, а может, и боль. Мы платим уже за то, что рождаемся женщинами, и мужчинам это никогда не понять. При этой мысли мои глаза наполняются слезами, и папа это неправильно толкует и нервно восклицает: «Мишка, Мишка!» И до меня доходит, что он страшно испугался моего долгого молчания, которое можно интерпретировать как угодно. Мои глаза поднимаются с Гилиного живота на ее лицо, и я улыбаюсь: «Я очень рада! Я давно хотела брата. Именно брата!» Папа выдыхает так громко, как будто до этого забыл, как дышать и минуты три не дышал.

«Перейдем к десерту?» — спрашивает Гили.

И тут я вспоминаю про пончики. «Подожди, Гили, — говорю, — у меня тоже кое-что есть...» — и тянусь к сумке. И когда хватаю сумку, намокший под дождем дешевый китайский ширпотреб (купленный бабушкой по скидке — она обожает скидки) разваливается у меня на глазах. Точнее, отваливается намокшее дно сумки, и на пол, помимо пакета с пончиками, выпадает с грохотом мой мобильный, за ним кошелек, а затем — грязные и слипшиеся клочья ваты и мои вонючие носки. «Что это, Мишка? — недоумевает папа. — Зачем... почему у тебя в сумке вата?» Гили выразительно смотрит на него, и папа замолкает. А я в отчаянии протягиваю руку к пакету с пончиками и заглядываю внутрь: они тоже отсырели и слиплись, а один пончик еще и раздавлен —

из него на весь пакет вытекло клубничное варенье. Оно красное, как кровь, и липкое, как кровь, и мокрое, как дожди, и как мои кровавые трусы, и мой позор обнаружен, и все испорчено, и никогда, никогда больше ничего хорошего не будет. И я рыдаю. Я почти не плакала все эти полгода, а сейчас реву в голос. Какая разница, что видит папа и видит Гили — они все равно обо всем догадались, и вообще — ничего на свете больше не важно, не имеет значения...

Я реву и отталкиваю папину руку, которая пытается неуклюже погладить меня по голове, и слышу голос Гили, который говорит: «Зээв, выйди пожалуйста», а затем папин возмущенный шепот: «Но я должен понять, разобраться, что происходит! Это — моя дочка!» А Гили так же спокойно повторяет: «Выйди, Зээв, ты мешаешь». И папа выходит. А Гили дает мне выплакаться, не пристает и не допрашивает. А когда я поднимаю зареванное лицо, говорит: «Знаешь, как у меня было? Мои родители — очень дикие, ни о чем таком со мной не говорили. Поэтому когда у меня в одиннадцать лет начались месячные, я подумала, что у меня рак и я умираю. Представляешь?» И смеется так заразительно, что я поневоле тоже смеюсь. А Гили протягивает руку: «Вставай. И пойдем». — «Куда?» — искренне удивляюсь я. «Покупать прокладки, конечно. У меня их теперь дома нет, как ты понимаешь. Но и это — временно. Как все в этой жизни, нет?» Я беру ее руку и поднимаюсь с дивана. Рука у Гили небольшая, но теплая, и решительная, хватка — будь здоров. Но я и не собираюсь бежать. Я сдалась. Даже больше — покорила. Еще больше — полностью обезоружена. «Ты о чем задумалась, Мишка? Можно я тебя так буду называть? На иврите очень забавно звучит.» — «Можно.» — «Давай, Мишка, надевай куртку и пошли. Заодно трусы тебе купим.» — «Мне еще и носки нужны,» — говорю я, и мы обе смеемся, и я продолжаю смеяться и не могу остановиться, как будто смех распирал меня изнутри все последние полгода, так же, как и плач. Но самое потрясающее — взгляд папы, мимо которого мы проходим по дороге к входной двери, его лицо при виде моего — хохочущего. Смесь изумления, неверия, восхищения и ужаса. Надо запомнить.

К пяти часам вечера меня знобит так, что я больше не могу скрывать свою температуру, и папа предлагает довезти меня не до автобусной станции, а до дома. Хотя на этом этапе мне уже ничего не поможет. Я пытаюсь это логично аргументировать, но Гили тихо говорит: «Позволь ему. Зээву просто хочется побыть папой». А потом вручает мне небольшой рюкзак цвета хаки: «Держи. Гораздо удобней, чем сумка». Я киваю вместо «спасибо», настолько я устала (хорошо, что Гили, в отличие от папы, такие вещи не обязательно объяснять). Кладу в рюкзак купленные Гили прокладки, две пары трусов (одна на мне, а кровавое позорище — в мусоре, где ему и полагается быть), кошелек и мобильный, и мы выходим. На всякий случай я Гили не обнимаю, чтобы не заразить. А она говорит на прощание: «В следующий твой приезд сделаем шопинг посOLIDней, договорились? А еще лучше — приезжай на шаббат, пойдем в поход».

— Теперь ты меня хоть немного понимаешь? — спрашивает папа в машине.

— Нет. Я тебя давно не понимаю, папа.

— Но ведь... Подожди... Гили же тебе понравилась!

— Причем тут Гили, папа? Ты ведь спрашиваешь про себя?

— Но... — папа замолкает, но ненадолго. — Мишка, я даже не знаю, как выразить, как сказать... В общем...

— Пап, а как ты на лекциях справляешься? С таким косноязычием?

— Не иронизируй, Мишка. Я, конечно, не могу тебя наказать, но я — твой отец и... мне правда было тяжело. Конечно, тебе было тяжелей. Я понимаю...

— Правда?

— Конечно. Я просто... Я страшно рад, что ты... что мы... ну, может, не как раньше...

— Как раньше уже не будет, пап, это невозможно.

— Пусть не как раньше, а по-другому, но главное, что...

— Я на тебя не сержусь. Ты это хотел выяснить?

— Мишка, я... Я хочу, чтобы ты знала: я тебя очень люблю. И твоего брата я конечно, тоже буду любить, но не больше, чем тебя... То есть, никто никогда не сможет быть для меня тем, чем...

— Пап, знаешь, что сказала бы Гили? Что ты слишком много разговариваешь...

И тут я засыпаю, мгновенно проваливаюсь в сон. Так что даже не знаю, сколько времени еще папа разговаривает сам с собой, думая, что я просто внимательно слушаю...

У дома я выхожу и потом еще долго машу вслед папиной черной хонде, которая почти сливается с темнотой, а потом стою просто так. Акамол, который дала мне Гили перед выездом, подействовал, и температуры временно нет. Вернулась ясность сознания, которая дает понять, что, по сути, ничего не изменилось, и дома меня ждет та же мама — спящая или притворяющаяся спящей, чтобы иметь возможность не решать никаких проблем, и, возможно, я ее сегодня невольно предала, и как и что рассказать ей о Гили, не знаю (и в тайне надеюсь, что она не спросит, но ведь спросит!). Говорить плохо не хочу, но говорить хорошо — опасно, к тому же мама очень чувствительная, она по одному взгляду догадается о моем предательстве... И перед тем, как подняться наверх — к спящей или бодрствующей маме (не знаю, что хуже!), к ждущему меня Карамазову, который наверняка залает еще до того, как я открою входную дверь, к бабушке с дедушкой с их расспросами и охами по поводу моей температуры («Я знала, что в такой дождь нельзя было никуда ехать!» — скажет бабушка) — я хочу постоять немного у подъезда, под бетонной крышей, вдыхать влажный, зимний запах дождя, слышать его стук по тротуару и тот звук, который получается, когда капли дождя стреляют по воде — по лужам. Хочу побыть немного одна. Мне это нравится. Не надо врать, притворяться, отводить взгляд или искать слова. И вообще... Это проще, когда понимаешь, что на самом деле ты — всегда один. Даже с другими, даже с теми, кто тебя любит, даже в самые счастливые моменты, на самом деле ты всегда один. И если это понять, тогда и в грустные, плохие моменты, будет легче.

И тут я вспоминаю обещание, которое дала Бэнци. Набираю его номер.

— Мишка! Что-то случилось?

— Ты же просил позвонить перед сном, забыл?

— А, точно. Сейчас просто игра Макаби против Апоэль... Ты уже ложишься? В восемь часов?

— Я заболела. У меня 38,5. Так что в школу завтра не пойду. Передавай всем привет и не скучай.

— Я тебе позвоню сообщить уроки. Если, конечно, Рони меня не обгонит. А как вообще дела? Что ты сегодня делала?

— Да так. Ничего особенного. Вот промокла под дождем и заболела.

— Смотри не болей долго — у нас в четверг решающая игра против отморозков из Ницана, помнишь?

— Есть, командир! И вообще — спасибо за сочувствие, ты — отличный друг!

— Ага, — смеется Бэнци. — Я — отличный друг.

— Бэнци, — говорю уже серьезно. — Ты — отличный друг. Вот, что я хотела сказать. Пока.

Телефон, согретый моим дыханием, теплый. А руки — холодные, замерзли. Надо идти домой, пока не подхватила еще и воспаление. Нельзя подводить Бэнци! Медленно вдыхаю и выдыхаю — изо рта выходит пар. Теперь я готова идти домой. Домой. Странное слово. Тем не менее — домой. Да и какие слова не странные? Так сказала бы Гили.